

В. ПОРУДОМИНСКИЙ

**„ВСЯ
ЖИЗНЬ
МОЯ-
ГРОЗА!“**



В. ПОРУДОМИНСКИЙ

**„ ВСЯ
ЖИЗНЬ
МОЯ-
ГРОЗА!“**

ПОВЕСТЬ ПРО ПОЭТА
ПОЛЕЖАЕВА
И
ПРО ЕГО ВРЕМЯ

МОСКВА
„ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА “
1981

Эта книга о недолгой и тяжёлой жизни поэта Александра Ивановича Полежаева (1804—1838 гг.). Крестьянский мальчик, московский студент, сосланный царём за стихи в солдаты, узник подземного каземата, он всюду лицом к лицу встречался с несправедливым устройством тогдашней самодержавной России.

Человек с горячим сердцем, гордый и смелый, он не желал мириться с жизнью раба. Его оружием были его стихи. В повести воссоздаётся образ поэта, рассказывается о его времени, о том, как впечатления жизни побуждали его к творчеству.

Консультацию текста осуществил кандидат филологических наук В. И. Коровин.

Оформление Н. Пономаревой

П $\frac{76802-516}{M101(03)81}$ -425-81



РУЗАЕВКА

тставной гвардейский прапорщик Николай Еремеевич Струйский владел землёй и людьми в Поволжье и под Москвой и вдоль границы кочевых казахских степей. Он жадно приумножал свои богатства: заводил бесконечные тяжбы с соседями, подкупал чиновников и судей, переставлял межевые камни, отмечавшие границу имений, а случалось, силой захватывал чужие поля, луга и водопои. Своей столицей Струйский сделал Рузаевку — село верстах в двадцати пяти к югу от Саранска. Здесь он и жил почти безвыездно.

Трёхэтажный господский дом стоял на возвышенности и был виден издалека. Удлиненные, островерхие окна придавали ему сходство со старинным замком. Гостей поражало богатое убранство комнат, лепные украшения по стенам, изящество обстановки, залы — квадратный и овальный с великолепно расписанными потолками. Николай Еремеевич хвалился, что чертёж дома составил для него сам Растрелли, преславный зодчий, возводивший Зимний дворец в столичном городе Санкт-Петербурге. На строительство Струйский денег не жалел: только за кровельное железо отдал купцу свою подмосковную деревню и при ней триста душ крестьян.

Возле дома располагались хозяйственные постройки: конюшни, каретные сараи, амбары, ледники. В душных людских ютились дворовые: лакеи, служанки, повара, конюхи, скотницы, портные. В девичьей крестьянки пряли шерсть, ткали на станках полотно, теснились с коклюшками у тусклых окошек — вязали кружева.

К дому примыкал большой парк с тенистыми аллеями, еловыми и липовыми. Николай Еремеевич любил тёмные рузаевские ели, их тяжёлые, мрачные ветви, густую тень вокруг стволов.

Главная аллея вела к танцевальному залу с зимним садом и оранжереей, где садовники летом и зимой растили дивные, неведомые в здешних краях цветы.

Барская усадьба была окружена рвом и валом, за ними жались одна к другой косые, чёрные от времени и копоты крестьянские избы, покрытые тёмной соломой.

А дальше вольно раскинулись господские поля...

...Тёплые весенние дожди смывают с земли остатки серого, напитанного влагой снега, — крестьяне выходят пахать. От зари до зари идёт мужик за сохой, выворачивает густой чернозём, — полоса за полосой, пока вся земля до самого горизонта не расстелется ровным лиловым ковром. И вот уже вылезает из-под земли молодая, сверкающая на солнце зелень. Хлеба растут, становятся высокими, матово-зелёными, потом начинают желтеть. В поле появляются бабы с серпами, один за другим золотыми человечками встают на колкой стерне снопы. На гумне весело стучат цепи — начинается молотьба. Ветер, влетая в ворота, вздувает облака соломенной пыли. Золотой горой высится зерно. Мельница прилежно машет крыльями, шумят жернова, муку в тугих мешках на подводах свозят в амбары. Ворота амбаров обиты железом, засовы тяжелы и крепки, на них — пудовые замки. А там припускают осенние дожди, крестьяне бредут на барскую работу, укрываясь с головой рогожками, с трудом вытаскивают лапти из липкой грязи. Зимой же, когда

тёмные ели низко склоняют засыпанные снегом ветви, в избах за крепостным валом пекут хлеб с мякиной, жалобно мычит голодная скотина, умирают дети.

ТИПОГРАФИЯ

Больше всего на свете Николай Еремеевич Струйский любил сочинять стихи. Стихи получались несурзные, слова с трудом цеплялись одно за другое, но сочинитель восторженно читал и перечитывал придуманные им строки — читал непременно вслух, громко и горячо, даже если в комнате, кроме него, никого не было.

Николай Еремеевич сочинял торжественные оды, послания к друзьям, любовные песни. В молодости он служил при дворе, боготворил с тех пор государыню Екатерину Вторую и часто превозносил в стихах её мудрость, милосердие и красоту.

У себя в Рузаевке завёл Струйский преотличную типографию — такие и в столице были наперечёт. Бумагу выписывал из-за границы, кожу на переплёт покупал самую дорогую, заставки, виньетки и прочие книжные украшения заказывал лучшим рисовальщикам, шрифты также отливали для него особенные — исключительной правильности и чистоты. Крепостные Струйского были замечательные мастера типографского дела — наборщики, печатники, гравёры, переплётчики.

В рузаевской типографии печатались только сочинения её владельца. Всякое новое своё стихотворение Струйский тотчас издавал отдельной книжкой. Таких книжек печатали всего несколько штук: сочинитель дарил их своим детям и близким знакомым. Один экземпляр, напечатанный не на бумаге, а на белом или розовом шёлке, предназначался для императрицы. Заглавный лист украшался виньеткой: государынин вензель «Е II», увенчанный короной в лучах восходящего солнца, под ним скрещённые труба и лира, гирлянда из словых ветвей.

Тут же стояло посвящение: «Всепресветлейшему твоему имени от верноподданнейшего Николая Струйского». Иногда посвящение получалось громоздкое, автор называл русскую царицу царицей муз, покровительницей наук и искусств. Книгу одевали в переплёт из тонкой красной кожи — сафьяна, теснили по нему золотом новые украшения и посылали в Петербург.

При дворе изрядно потешались над стихами рузаевского сочинителя. Знаменитый поэт Державин, некогда служивший со Струйским в одном полку, шутил: «Имя ему — струя, стихи же его — непролазное болото». Императрица смеялась шуткам, но перед иностранцами книжками Струйского хвасталась: глядите, мол, как печатают у нас в деревнях, за тысячу вёрст от столицы, — может ли быть такое, если государыня и вправду не покровительница наук и искусств? Иностранцы почтительно кивали головами. А Екатерина приказывала отдарить верноподданнейшего сочинителя бриллиантовым перстнем.

ПОРТРЕТЫ

В квадратном зале висели портреты рузаевских господ — самого Николая Еремеевича и его супруги Александры Петровны.

Николай Еремеевич, сидя в кресле, мог часами разглядывать портреты.

На холсте Струйский появляется как бы из тенистого сумрака. Его зелёный, цвета тёмных елей, кафтан сливается с фоном. Лицо Струйского беспокойно. Сверкающие тёмные глаза тревожны и задумчивы. Взгляд направлен мимо зрителя, будто Струйский увидел что-то, чего не видит никто другой. На губах улыбка, но не ласковая, не весёлая — недоуменная, горькая, и вместе — кривая усмешка недоброго человека.

В Александре Петровне разглядел художник тонкую красоту лица и души. Александра Петровна на портрете изящна и нежна,

в глазах ласковость и при том затаённая грусть. Беспечная юность соединяется в ней с волей и разумом. В ту пору, когда писался портрет, было Александре Петровне восемнадцать лет.

Писал портреты Фёдор Степанович Рокотов. Струйский почитал его славнейшим из российских живописцев и гордился знакомством с ним. Он говорил, что Рокотов не только изображает вид лица, но проникает внутрь души человека.

Рокотов понимал: нет человека, про которого можно сказать только что-нибудь одно — добрый, злой, весёлый, грустный. Чувства и мысли людей сложны: недаром говорится, что узнаёшь человека, когда с ним пуд соли съешь. И художник Рокотов старался передать эту сложность человеческой природы. Оттого люди на его портретах живые и загадочные — с ними хочется познакомиться, разговаривать, хочется понять их...

Насмотревшись на портреты, Николай Еремеевич подходил к огромному зеркалу в резной позолоченной раме, проводил костлявыми пальцами по своим иссечённым морщинами щекам, видел свой тонкий нос, изогнувшийся подобно клюву хищной птицы, тонкие подвижные губы, длинные седые волосы, спадавшие на плечи, глаза, сверкавшие ещё тревожнее, чем прежде...

СТРАХ

Рокотов писал портреты в 1772 году, и Николай Еремеевич вспоминал теперь, какое это было прекрасное время. Он был тогда молод, полон сил и надежд, захвачен приобретением земель и крестьян, отделкой своего дома.

Но двух лет не прошло — из-за Волги, с Урала, явился со своим войском Емельян Пугачёв. Господа называли Пугачёва «злодеем» и «душегубцем», а мужики величали «батюшкой» и шли за ним тысячами. Многие помещики обратились в бегство. Николай Еремеевич медлил, жалея оставить имение на

произвол разбойников. Но прискакал управляющий, посланный на разведку, рассказал, как встречали Пугача в Саранске.

Войско мятежников вступало в город под жёлто-красными знамёнами. Частокол пик поднимался в небо. Повстанцы, конные и пешие, в считанные минуты заполнили улицы. Ехали верхом степенные яицкие казаки с ружьями поперёк седла. Башкиры в меховых шапках, вздымая пыль, крутились на диких своих конях. Положив руку на чугун ствола, шли рядом с пушками артиллеристы из уральских рабочих людей. На Пугачёве был голубой бешмет, стянутый золотым поясом, чёрная смушковая шапка, широкие казачьи шаровары малинового бархата. За поясом два пистолета, на боку кривая сабля. Народ радостно его приветствовал: все вышли на базарную площадь в праздничной одежде и кричали «ура». Пугачёв приказал читать грамоту: он жаловал народ землями, водами, лесами, рыбными ловлями, жилищами, покосами, посевом и хлебом. Обедал Пугачёв в доме воеводской вдовы, что жила у Трёхсвятской церкви, кушанья подавали на серебряной посуде, он же, подходя к окну, дарил серебро собравшимся возле дома простым людям. Приказал Пугачёв к утру везти в Саранск окрестных помещиков на суд и расправу.

Николай Еремеевич тотчас велел заложить тройку, лошадей выбрал самых резвых, посадил в карету Александру Петровну и детей, из имущества взял на колени только ларец с дорогими камнями и деньгами и погнал на Москву. Мчались не останавливаясь — как бы в беспамятстве. Николай Еремеевич боялся постоянных дворов, каждый мужик казался ему пособником Пугачёва. По дороге начался у него озноб, в московском своём доме он часами сидел, прижимаясь спиной к жарко натопленной кафельной печи, но дрожь не унималась. Когда пойманного Пугача в клетке привезли в Москву, Струйский поспешил для успокоения на Болотную площадь — смотрел, как рубили злодею голову.

Узнал Николай Еремеевич, что рузаевские крестьяне встре-

чали пугачёвских посланцев хлебом-солью, посадили их обедать в господском доме, многое в доме попортили, сорвали дорогую железную кровлю. В деревне Покрышкине, также ему принадлежащей, того хуже — убили старосту. По возвращении в Рузаевку Струйский учинил жестокий розыск: клеймил непокорных рабов калёным железом, бил кнутом нещадно, готов был истребить всех с жёнами и детьми, а дома их предать огню, однако спохватился: без пахарей, скотниц, пастухов, служанок, кучеров, плотников не обойдёшься, а где взять других, коли все вокруг — бунтовщики?..

С тех пор двадцать лет минуло, но страх и ненависть не проходили. От них и эта худоба, и этот вечный огонь в глазах... Разглядывая в зеркале своё лицо, Николай Еремеевич думал о том, что мало стал похож на давний свой портрет и что хорошо было бы попросить Рокотова снова написать теперь его и Александру Петровну. Если повесить новые портреты рядом с прежними, будет видно, как меняет человека время.

И он послал художнику приглашение погостить в Рузаевке.

ХУДОЖНИК РОКОТОВ

Лет десять назад слава Рокотова была ещё очень велика. Многие знатные люди желали иметь исполненный им портрет и платили за работу сто рублей. Но появились новые живописцы, они писали не так, как он, и брали за работу вдвое-втрое дороже. Рокотов им не завидовал и не подражал. Он знал, что в искусстве обезьянить нельзя: художник должен быть такой, какой он есть, а начнёт подделываться под других — ему конец. Пока работает по-своему, хороший ли, плохой ли, но он — художник; а подражатель и самый ловкий — не художник, а подражатель. Да и глаза у Рокотова стали слабеть. Иногда, в сумрачные дни, видел он всё вокруг словно сквозь реденькую тряпицу.

Фёдор Степанович поселился на тихой московской окраине

возле старинного монастыря. После обеда, пока не стемнеет, сидел у окна и читал, водя над страницами большим увеличительным стеклом в медной оправе. Мимо окна день-деньской брели богомольцы. Жили при Рокотове верный слуга с женою, тоже, как он, старики. Вечером, чтобы провести время и не утомлять зрение, Фёдор Степанович играл с ними в дурачки. Заказчиков мало. Месяц проходил и другой, пока подъезжала к крыльцу карета четвернёй с фореитором на передней правой лошади и лакеем в красной ливрее на запятках. Хотя за портрет просил теперь художник всего пятьдесят рублей...

Получив от Струйского приглашение, Рокотов решил ехать. Не виделись давно, а ведь смолоду знакомы — в прежние годы часто встречались и в Петербурге, и в Москве; Николай Еремеевич прославлял художника стихами и прозой, покупал у него работы, присылал к нему для обучения крепостного своего живописца Зяблова, сына рузаевского пахаря. Чахотка погубила Зяблова в молодые годы, Струйский горевал, что лишился такого мастера, даже стихи сочинил: «Пускай, хоть был он раб, но слёз достоин будет». В Рузаевке не был Рокотов с тех давних пор, как писал портреты хозяев. Двадцать лет и два года пробегало.

Чтобы путешествие обошлось дешевле, Фёдор Степанович нашёл попутчиков — пензенскую барыню и старичка инвалида, отставного офицера. У инвалида пустой левый рукав был приколот булавкой к поясу мундира. Наняли в складчину крытую карету с чёрным кожаным верхом. Фёдор Степанович уложил в дорожный сундук парадный шёлковый кафтан, серый, шитый серебром, башмаки с серебряными пряжками, тонкое бельё и на всякий случай белый парик с буклями на висках. В особый ящик сложил принадлежности для работы: палитру — дощечку смешивать краски и несколько любимых кистей. Поверх дорожного платья для защиты от пыли и грязи он надел чёрный плащ без рукавов с застёжкой у шеи и чёрную английскую шляпу, высокую, с плоским верхом и широкими полями.

Ехали дорогой на Пензу. Солнце вставало впереди экипажа слева, а заходило по правую руку сзади.

Попутчики попались разговорчивые. Толстая барыня рассказывала, как в молодости пряталась с семейством в лесу от Пугачёва. Дворяне бродили в лесах целыми таборами — грязные, голодные, без прислуги; по ночам боялись разжигать костры. Соловьёв в то лето было необыкновенно много, ночью пели они громко, как бы в отчаянии, — с того времени невзлюбила барыня ни леса, ни соловьёв. Инвалид вспоминал военную кампанию 1759 года, битву при Кунерсдорфе, когда наши войска разгромили прусскую армию. В разгар боя, рассказывал инвалид, почудилось ему, будто чёрное от дыма солнце сорвалось с неба и полетело прямо на него: это было неприятельское ядро. И старичок похлопал себя по пустому рукаву. А шёл ему тогда всего девятнадцатый год. Рокотов прикинул в уме: инвалид-то на пять лет младше его, вот тебе и старичок!

Иногда, чтобы отдохнуть от разговоров и размять затёкшие ноги, Фёдор Степанович вылезал из кареты и следовал за ней по обочине, краем жёлтого ржаного поля. Память рисовала перед ним картины такие далёкие, что и не верилось, будто всё это было. Виделось ему: солнечным летним днём идёт он с отцом вот так же — полем, и спелая рожь так же шуршит, и так же синие васильки сверкают среди колосьев; отец крепко сжимает его ручонку в большой шершавой ладони и без конца повторяет, что если Федя перед барином в грязь лицом не ударит, докажет к рисованию талант, его сиятельство пошлёт Федю учиться, а как станет Федя добрым мастером, глядишь, и вольную даст. Были они тогда крепостные люди князей Репниных...

В Саранске Фёдор Степанович расстался с попутчиками. На пыльной базарной площади ждал его посланный ему навстречу из Рузаевки человек в открытой коляске, запряжённой парой сытых лошадей. Человек сразу признал художника: в чёрном плаще, в шляпе с плоским верхом, он выглядел среди базарной толпы чужеземцем.

Сидя в коляске, Рокотов глядел вокруг, узнавал и не узнавал знакомые места. Липы при подъезде к барскому дому он помнил молодыми; теперь стволы их раздались, кора огрубела, сильные ветви широко раскинулись над его головой, солнечные лучи, пробиваясь сквозь густую листву, рассыпались по земле ослепительно яркими зайчиками. И художник грустно думал о неумолимом движении времени.

КВАДРАТНЫЙ ЗАЛ

Рокотов проснулся рано. За долгие годы работы он привык дорожить каждым часом света. И теперь, хотя глаза его ослабели и он редко брался за кисть, он по-прежнему поднимался с зарёй.

Он сунул ноги в обшитые мехом домашние туфли и в одной рубахе, длинной, до полу, подошёл к окну. Покои ему отвели на верхнем этаже. Отсюда было видно, как в небе за тёмным неподвижным полем быстро разгоралась огненная полоса, пежные палевые лучи выбивались из-под неё, края дальнего облака сияли перламутром.

Слуга в накинутом на плечи армяке, босой принёс белый фаянсовый кувшин с водой и такой же таз — умываться. Фёдор Степанович ополоснул лицо, надел батистовую сорочку с кружевным воротом, короткие штаны из чёрного шёлка и серый свой кафтан с обшитыми серебром манжетами, карманами и петлями; на ноги с выпирающими стариковскими коленями натянул тонкие белые чулки. Достал из сундука парик, повертел в руках и положил обратно. Зачесал волосы назад, привычно заплёл косичку, повязал чёрной лентой и спрятал в чёрный же бархатный мешочек, называемый «кошелёк». Стараясь ступать тише, художник вышел за дверь, длинным коридором добрался до лестницы и спустился в квадратный зал.

Уже совсем рассвело. Он медленно двигался вдоль стен и рассматривал развешанные в зале картины.

Вот портрет Екатерины Второй, написанный им в год её восшествия на престол. Исполняя портрет, Рокотов хотел показать, что на троне российского государства должны царить добро, мудрость и справедливость. Лицо императрицы спокойно и ласково, правая рука со скипетром протянута вперёд — государыня будто указывает, что прежде всего надлежит сделать для общего блага.

Теперь Рокотов с грустью думал, что властители не склонны слушать советы художников.

Вот изображение кабинета Ивана Ивановича Шувалова, давнего президента Академии художеств. Картину Рокотов написал ещё в молодые годы; позже рузаевский крепостной живописец Зяблов снял с неё эту копию. Кабинет Шувалова не похож на роскошные кабинеты других вельмож. В нём нет драгоценной утвари. Стены сплошь заняты картинами. Сразу видно, что владелец кабинета не чванливый богач, а просвещённый любитель искусства. Здесь, в этой комнате, среди этих картин, юный Рокотов, принятый Шуваловым в Академию художеств, совершенствовал свой вкус и своё мастерство. Здесь увидел юного художника Михаил Васильевич Ломоносов, сразу поверил в его умение и пригласил помогать в работе над первыми русскими мозаиками. Рокотов помнил полные румяные щёки Ломоносова, его по-детски пухлые губы, яркие глаза.

А вот и портреты хозяев — Николая Еремеевича и Александры Петровны. Художник подумал, что писать новые портреты Струйских, пожалуй; неинтересно. Николай Еремеевич показался ему не в меру жесточённым. Александра Петровна пополнила, лицом сделалась решительнее, из глаз её ушла загадочность, появились в глазах житейская опытность и хозяйский расчёт.

Показался в дверях мальчик лет одиннадцати, господский сын, узкогрудый, бледный, тёмные глаза навывкате. Семейные звали мальчика Лёвушкой, слуги — Леонтием Николаевичем. Следом за Лёвушкой шёл воспитатель-гувернёр в коричневом

фраке, вёл барчука в классы. Под мышкой у Лёвущки была тетрадь в твёрдом кожаном переплёте.

Лёвущка поклонился и объявил, что батюшка, Николай Еремеевич, просит господина Рокотова к себе. Художник погладил мальчика по голове, взял из его рук тетрадь, открыл. На первой странице был французский диктант, тут же арифметика — примеры на умножение, столбиком. Сбоку на полях — рисунок: бородатый мужик привязан к столбу, другой, в синем кафтане, бьёт его кнутом. Рокотов быстро закрыл тетрадь, протянул Лёвущке:

— Это дурной рисунок. Художество есть добро.

— Я не художник, — вскинул голову Лёвущка. — Я здешний господин!

«ПАРНАС»

В Греции есть гора Парнас. Древние греки считали, что на вершине горы живут музы, возглавляемые прекрасным богом искусств Аполлоном.

Николай Еремеевич Струйский называл «Парнасом» свой кабинет на верхнем этаже рузаевского дома. Здесь он сочинял стихи.

По стенам кабинета были расставлены статуи Аполлона и девяти муз. В комнате царил такой беспорядок, словно вещи были нарочно сдвинуты с места, перепутаны, разбросаны самым неподходящим образом. На письменном столе среди книг и бумаг лежал вниз лицом белый мраморный бюст, рядом стоял высокий хрустальный бокал, на дне его светился тяжёлый бриллиантовый перстень, из бокала торчала оплывшая палочка красного сургуча. Струйский называл этот беспорядок «поэтическим» и говорил, что без него невозможно сочинять стихи. Всё на «Парнасе» было покрыто толстым слоем пыли. Стирать её строго запрещалось. Николай Еремеевич объяснял, что

пыль — лучший сторож: по следам на ней сразу видно, не хозяйничал ли кто-нибудь без него в кабинете.

Струйский встретил художника приветливо, обнял и стал усаживать в огромное кресло, нелепо стоявшее посреди комнаты. Садясь, Рокотов старался хотя слегка стряхнуть пыль платком. Николай Еремеевич торжественно объявил, что нашёл среди своих стихов послание к дальнему другу, именуемое «Излияние сердца», — стихи будто нарочно написаны на приезд любезного Рокотова. Он извлёк откуда-то из-под стола длинный лист бумаги, встал против гостя, важно поднял руку и прокричал:

Душа твоя ко мне являлася приветна,
Кому твоя приязнь ко мне уж не приметна!..

Он кричал всё громче; не прерывая чтения, пробежался по комнате, на строчке «Как прежде любишь ли ты друга отдаленна?» остановился позади Рокотова и больно ущипнул его за плечо. Рокотов подумал: синяк будет. А Струйский снова забегал, опрокидывая стулья и стоявшие на полу вазы и статуэткИ. Одежда на нём была странная — не то длинный камзол, не то короткий халат из золотисто-зелёной, как лягушачья шкурка, парчи, подпоясанный шёлковым розовым кушаком.

Но случилось так! Что я грущу, знать, так и должно;
Мне в грусти сей себя почти забыть возможно...

Художник, слушая, думал, что в стихах Струйского, как в его кабинете, — беспорядок и пыль.

Толико уловлен, толико привлечен
Всем сердцем тя любить я сколько огорчен...

Струйский окончил чтение и бессильно опустился на табурет у ног мраморного Аполлона.

Рокотов спросил, отчего видит он по стенам между статуями муз целый арсенал оружия: пистолеты, ружья, сабли,

шпаги, кинжалы? Известно, что орудия смерти не дружат с искусствами. Струйский отвечал, что крепостные рабы его — как один, мятежники и злодеи, оттого и здешний «Парнас» не только место поэтических восторгов, но также военная крепость.

БУКОВКА

Струйский пожелал немедленно напечатать стихотворение отдельной книжкой и подарить гостю. Он повёл Рокотова в типографию. Типография помещалась рядом с домом в одноэтажном кирпичном сарае. Струйский подозвал наборщика, красивого чернобородого мужика, и передал ему лист со стихами. Чернобородый подошёл к наборной кассе — большому ящику, разделённому на ячейки; в каждой ячейке лежали свинцовые брусочки, литеры, с отлитой на них одной какой-нибудь буквой. Наборщик взял в левую руку коробочку с высокими краями, а правой стал одну за другой доставать из ячеек нужные буквы и составлять из них слова. Он ставил буквы и слова не слева направо, как пишут, а справа налево: когда литеры покроют краской и прижмут к ним бумагу, буквы и слова отпечатаются как нужно.

Наборщик осторожно вынимал из коробочки составленные строки и перекладывал на железный поднос. Мастер-верстальщик подсчитывал, сколько строк пойдёт на каждую страницу, отделял их и, чтобы не рассыпались свинцовые букочки, крепко стягивал бечёвкой по краям.

Тем временем Струйский с другим рабочим выбирал подходящую картинку — виньетку. Выбрал такую: палитра с просунутыми в отверстие для пальца кистями, под ней раскрытый альбом, сзади мелко — уходящая вдаль еловая аллея.

Переплётчик бережно кроил кожу на переплёт.

Наконец, страница за страницей сложили на подносе всю собранную из отдельных букочек книгу, поместили в станок,

намазали краской, печатник покрыл набор бумажным листом и, повернув рукоятку, придавил его тяжёлой крышкой. Потом освободил лист и поднёс господину влажный от краски оттиск.

Струйский начал громко читать,водя по странице костлявым пальцем.

Вдруг он замолчал,лицо его побледнело,губы задёргались,будто в усмешке.С оттиском в руке он подбежал к наборщику и схватил его за бороду.Мужик повалился на колени.В типографии стало тихо,точно в ней не было ни души.

— Бунтовщик! — закричал Струйский. — Опозорить вздумал господина своего!

Он поднёс оттиск к самому лицу наборщика. Тот в испуге закрыл глаза.

— Нет, ты смотри, смотри! Читай, вор, да чтоб все слышали!

То ли, набирая в спешке, не из той ячейки схватил мастер букву, то ли буква попалась с порчей, только вместо «грущú» стояло в стихе — «груШу».

Тут бы, и правда, посмеяться, да не до смеху.

— За такое преступление мало кожу с тебя с живого содрать! Но как прежде был прилежен, на первый раз будешь бит кнутом. И помни моё милосердие!

Откуда ни возьмись, подскочили два господских стражника, оба в одинаковых синих кафтанах. Схватили наборщика под руки, потащили за собой.

Струйский с порога крикнул в молчавшую типографию:

— Я вашу пугачёвщину изведу!

РАСПРАВА

Мужика секли под окнами господского дома. Николай Еремеич наблюдал с «Парнаса», хорошо ли бьют, не жалеют ли. В кабинете слышно было, как хлопает кнут. Не в силах слушать свист бича и стоны несчастного, Рокотов тихо вышел из комнаты.

Перемазанный краской оттиск со злополучной «грушей» он свернул вчетверо и положил в карман на память.

К обеду хозяин не появился. Александра Петровна, стыдясь глядеть гостю в глаза, объяснила, что после расправы нападает на Николая Еремеевича сильный страх. Отовсюду ждёт он покушения: на прогулке удара из-за угла, в пище отравы. Оттого, случается, несколько дней подряд сидит, запершись на «Парнасе», безвыходно.

Погода портилась. Ветер натягивал тучи. Тёмные ели за окнами протяжно шумели.

Рокотов вспомнил вдруг про неотложные дела в Москве, попросил у Александры Петровны лошадей до Саранска: глядишь, возница, который доставил его туда, ещё не нашёл обратных пассажиров. Александра Петровна его не отговаривала.

Он поднялся к себе, быстро переоделся в дорожное платье. Застегнул на шее плащ. Плотнее нахлобучил шляпу.

Выезжая из Рузаевки, художник вспоминал двух своих племянников, выкупленных им из крепостного состояния. Теперь оба в армии, уже офицеры...

Тучи совсем заволокли небо. Ржаное поле померкло. По нему пробегали тревожные волны. Начался дождь. Сперва капал лениво, как бы раздумывая, но скоро полил ровно и сильно.



«СУДЬБА МЕНЯ В МЛАДЕНЧЕСТВЕ УБИЛА»

Александр Полежаев



НЕНУЖНЫЙ МАЛЬЧИК

В последних числах августа 1804 года крепостная господ Струйских, солдатская дочь Аграфена, родила мальчика. Управляющий именем Михайла Семёнович Вольнов побежал докладывать барыне. Александра Петровна приказала немедленно доставить к ней новорождённого. Она была теперь полноправной рузаевской хозяйкой.

Николай Еремеевич уже восемь лет как умер. Подкосила его кончина обожаемой государыни Екатерины Второй. Когда скорбная весть достигла Рузаевки, Николай Еремеевич без чувств рухнул на пол. С этой минуты ноги отказались ему служить. Язык тоже плохо его слушался. Обложенный подушками, он сидел в кресле с бессмысленным лицом и злыми глазами. Привезённый из города лекарь опасливо обошёл кресло, дотронулся до большой холодной руки Николая Еремеевича, безжизненно лежавшей на подлокотнике, и, выйдя в соседнюю комнату, печально покачал головой. Александра Петровна протянула лекарю денежную бумажку, ассигнацию, и приказала, по обычаю, звать дворовых прощаться с барином. Мужики и бабы входили в комнату, становились перед Николаем Еремеевичем на колени и кланялись ему в ноги. Бабы громко всхлипывали,

мужики сокрушённо вздыхали и тёрли тыльной стороной ладони сухие глаза. Барин сидел страшный: неподвижный, будто умер уже, а смотрел сердито — как буравчиками сверлил. Когда приблизился к нему старик каретник, накануне жестоко наказанный плетью, лицо Николая Еремеевича вдруг перекопилось, он потянулся схватить старика за бороду — и повалился, мёртвый. Похоронили Струйского, как он приказывал, не в церкви и не в семейном склепе, а возле ограды, ближе к дороге. Он говорил, что желает и после смерти видеть, как работают его крестьяне, и, если будет надобность, встанет из могилы и накажет нерадивых. Крестьяне огибали недобрую господскую могилу и скоро протоптали тропку, кривой дугой уходящую далеко в сторону от дороги.

...Управляющий Михайла Вольнов нашёл Аграфену в людской. Там женщины солили огурцы. Доставали из корзин огурчики, подбирали один к одному — небольшие, крепкие, пупырчатые, ровные по величине, укладывали в добела выскобленные изнутри бочки, заливали рассолом, клали в бочки белые головки чеснока, жёсткие стебли укропа, листья хрена и мягкие, будто тряпичатые, смородиновые листья. Аграфена в углу на лавке кормила ребёнка грудью. Там же на вбитом в потолок крюке покачивалась наскоро устроенная зыбка: на квадратную рамку из четырёх досочек натянули холстяное донце, к углам рамки привязали верёвочки и зацепили за крюк. Михайла Вольнов с удовольствием вдохнул вкусный пряный запах, схватил из кучи огурец, жадно откусил раз-другой крепкими зубами, утёр ладонью небольшую рыжую бороду и повёл Аграфену к барыне.

По двору шли: впереди Михайла Семёнович — в коричневом суконном кафтане нараспашку, рубаха подпоясана высоко, по груди, почти под мышками, чтобы виден был плотный, сытый живот, за ним — Аграфена в серой полотняной рубахе и жёлтом сарафане. Аграфена ступала осторожно, прижимая к себе ребёнка. Мальчик не спал, лежал у неё на руках спокойно, с от-

крытыми глазами. Глаза у него были большие, чёрные, круглые, как вишни.

День стоял солнечный, золотой. В небе разливалась осенняя, неяркая голубизна. В густой ещё листве берёз кое-где просверкивал жёлтый лист. Горели на рябинах красные гроздья. Свежие еловые побеги успели потемнеть. У дверей господского дома Михайла Семёнович взял из Аграфениных рук младенца и сам понёс к барыне. Аграфена осталась на улице, за дверьми.

Александра Петровна ждала управляющего на «Парнасе». Всё здесь было как при покойном господине — и статуи муз, и беспорядок, только пыль тщательно вытерта. Михайла Вольнов вошёл с поклоном, держа на протянутых руках ребёнка, точно блюдо с хлебным караваем. Александра Петровна кивком указала на стол, и управляющий осторожно положил туда свою ношу. Мальчик лежал на письменном столе рядом с покосившейся стопкой книг, упавшим мраморным бюстом, хрустальным бокалом, в который была воткнута тёмно-красная палочка сургуча. Александра Петровна отогнула угол пелёнки: глаза у мальчика были открыты — большие, чёрные, горящие; Александра Петровна подумала: «струйские» глаза.

Она отошла к окну. Внизу под окном стояла, задумавшись, красавица Аграфена. Александра Петровна залюбовалась ею. Статная, черты лица правильные и вместе нежные, волосы пушистые, светлые, цвета гречишного мёда, ноги, даже в лаптях, маленькие не по-крестьянски, вот разве только руки красны — да как их убережёшь на деревенской работе! Такая всякому приглянется, думала Александра Петровна. Она знала — да и кто того не знал, — что Аграфена приглянулась её сыну, молодому барину Леонтию Николаевичу. Года не прошло, как Лёвушка — Леонтий Николаевич, — выйдя в отставку, вернулся из гвардейского полка и поселился в Рузаевке. Мальчик, принесённый на «Парнас», был сыном не только крестьянки Аграфены, но и господина Леонтия Струйского. Он был одновременно рабом и внуком Александры Петровны.

Какой ни была Аграфена красавицей, жениться Леонтию Николаевичу на крестьянке было невозможно; однако оставлять мальчика в вечном рабстве тоже жаль. Будет всю жизнь ходить за сохой, а то, глядишь, сдадут в солдаты или, того хуже, вовсе заперют за какую-нибудь провинность.

Александра Петровна повернулась к управляющему и велела искать Аграфене мужа из вольных людей. Приданое за ней будет порядочное — и бельём, и посудой, и деньгами; если понадобится, можно и дом купить в городе. Михайла понимающе склонил голову.

Александра Петровна приказала назвать мальчика Александром.

Фамилии у него пока не было.

ТОРГОВЛЯ

Начал Михайла Вольнов искать мужа Аграфене. Помог богатый саранский купец. Нашёлся у купца приятель, тоже из купеческого звания, — Иван Полежаев. Торговлю Полежаев вёл мелочную, богатства не накопил. У Полежаева был сын, звали его, как отца, Иваном. Старший Полежаев надеялся вывести сына в люди через выгодную женитьбу. Тут появился в доме Полежаевых рузаевский управляющий Михайла Семёнович. Мужчина дородный, степенный, кафтан праздничный, хорошего чёрного сукна. Вольнов достал из-за пазухи бумажник, большой, кожаный, немного потёртый; в бумажнике — опись приданого, которое дают господа за Аграфеной. Михайла Семёнович развернул опись, стал читать:

— Салоп тёплый, тёмно-зелёный, атласный, под ним мех черно-бурый, лисий. Шуба на заячьем меху. Платье шёлковой материи, палевое. Две скатерти персидские, белые. Две дюжины столовых салфеток, белых. Одна перина двухспальная, пуховая. Шесть подушек пуховых...

Склонив голову набок, отец Полежаев слушал мечтательно, как песню.

Пока гость раскрывал бумажник, старший Полежаев тотчас приметил упрятанную в кожаный кармашек плотную пачку денег.

А Михайла Семёнович, едва поведя глазом, оглядел тесноватую полежаевскую горницу, важно погладил рыжую бороду:

— Мы и дом молодым справим...

Купец Полежаев решил взять сыну в жёны отпущенную на волю господами Струйскими крестьянку Аграфену с шубой, салопом, периной, подушками пуховыми, с домом в городе Саранске и полугодовалым сыном Александром.

...Венчали Аграфену с Иваном в рузаевской церкви, подалее от любопытных глаз; тут и священники были послушны своим господам, и книги церковные велись под надзором самой Александры Петровны.

День стоял январский, морозный. Венчанье назначили с утра, церковь была нетопленная.

— Обручается раб божий Иван рабе божией Аграфене, — произносил священник привычные слова, изо рта его шёл пар.

Вокруг пламени свечей легонько дрожали жёлтые кружкí. В полутьме у дальних икон, где свечи не были зажжены, теплились красные и зелёные огоньки лампадок. Народу в церкви было мало: барыня не велела пускать никого лишнего. Сама Александра Петровна появилась с несколькими надёжными слугами, приехал также саранский богатый купец, который устроил дело. Священник говорил, что главное в семье — любовь и правда. Аграфена думала, что вот выдают её замуж за нелюбимого, зато отпустили на волю; и сын её теперь не раб — свободный человек. Будут теперь у Саши отчество и фамилия — Александр Иванович Полежаев.

УКОЛЫЧ

Дом в Саранске был куплен большой: сами поместились, и жильцов пустили, и ещё одну комнату, самую просторную, сдали под швальню — портняжную мастерскую. Шили в мастерской солдатскую амуницию — мундиры и шинели, одевали новобранцев-рекрутов. Русское войско сражалось с армией французского императора Наполеона на полях Австрии и Пруссии, но все знали, что это только начало — главная война впереди. Рано утром маленького Сашу будили песни, которые доносились из швальни.

Буря море раздымает,
Ветер волны подымает,—

пели портные. Мать надевала на мальчика длинную, вышитую по вороту рубашку, подпоясывала шёлковым витым пояском, на ноги надевала белые мягкие валенцы, давала в руки тёплую пшеничную краюшку.

Портные пели:

Сверху небо потемнело,
Кругом небо почернело.
Один молний свет блистает,
Туча с громом наступает...

Торопливо переступая, Саша топал в швальню. Подогнув под себя босые ноги, портные сидели на широких столах, сильным, протяжным движением протаскивали толстую нить сквозь грубое шинельное сукно.

Начальники все в заботе,
А матросы все в работе:
Иной летит сверху книзу,
Иной лезет снизу кверху.
Тут парусы поднимают,
Там верёвки подкрепляют...

Самый интересный из портняжных мастеров был старик Гаврила Вуколыч. Маленький, лысый, уши оттопырены, голова глубоко ушла в плечи.

— Хорошо, ушами зацепилась, а то совсем бы вовнутрь провалилась,— смеялся Гаврила Вуколыч и звонко пошлёпывал себя по лысине. Говорил он затейливо, с шутками да прибаутками, историй знал множество, все занятные, иной раз такую долгую заводил — утром начнёт, в обед прибавит, вечером надставит, а доскажет, глядишь, только на другой день.

Старика Гаврилу Вуколыча называли все просто Уколычем. Он не сердился.

— Я,— говорил,— иглой колю, зато словом хвалю. А другой ложкой кормит, а черенком в глаз колет.

Рассказывал Уколыч маленькому Саше про войну. Пушки грохочут, ядра летят, свистят, шипят да рвутся, от чёрного дыма день — как ночь, напирают солдаты на врага, кто бегом со штыком, а кто на коне с саблей. Русский солдат ничего не боится. Ни огня, ни смерти. Вот убили солдата, явился он на тот свет — куда его девать? Приказывают — в рай. Вот пришёл он в рай — давай буяннить: поёт, пляшет, на балалайке играет, шилом бреется, палкой греется, сам веселится и других веселит. Нет, говорят, тут этак не положено, тут тихо надо. «А тихо, так я лучше в ад!» Стал он чертей в аду воинскому делу учить — стой прямо, шагай браво, выше ногу, грудь вперед, коли, руби, вконец замучил. Просят черти: «Иди, солдат, к себе домой». — «А мне и тут хорошо». Еле упростили. Взял с них солдат выкуп — рубль серебром да одного чёрта посадил в табакерку и прихватил в залог, чтоб обмана не было — так и воротился в свой полк как ни в чём не бывало.

Над столом у старика Уколыча висела картинка: царь Салтан в золотой короне на белом коне, враги бегут, отрубленные головы на землю падают. Саша верхом на берёзовом венике скакал вокруг Уколычева стола — он и храбрый солдат, и грозный царь Салтан. Уколыч, протягивая нитку, глядел на него ласково:

— И в солдатах люди живут, и царём — хорошо, но всего боле — на вольной воле.

Нестерпимо везде горе,
Грозит небо, шумит море,—

пели портные.

Вся надежда бесполезна,
Везде пронасть, кругом бездна.
Если кто сему не верит,
Пускай сам море измерит...

ИВАН ИВАНОВИЧ ПОЛЕЖАЕВ

Иван Иванович Полежаев был непоседлив и ненадёжен. Чуть свет спешил к отцу в лавку — помочь в торговом деле, но по дороге заворачивал в трактир — побаловаться чайком, встречал приятелей, те уводили его на базар — смотреть, какой товар привезён; так целый день и бродил — неведомо где, неведомо зачем.

Всё хозяйство было на матери, себе в помощь отпросила она у бывших господ младшую сестру Анну. Случалось, вечером Иван Иванович возвращался пьяный, громко ругался, грозил матери кулаком, но не бил. Мать его не боялась — вела за руку на кровать, укладывала, снимала с него сапоги. Он обиженно бормотал что-то, но скоро засыпал, громко всхрапывая.

Был Иван Иванович хорош хоть куда — белокур, кудряв, щёки румяные, губы полные, яркие, глаза прозрачно-голубые. В движениях, однако, был суетлив: не к делу взмахивал руками, вскакивал с места, притоптывал, оттого всё казалось, будто делает что-то не то и не так.

Торговля у старшего Полежаева приходила в упадок, прибыль была скудная, деньги, взятые стариком в приданое за Аграфеной, быстро проживались, от суетливого Ивана Ивано-

вича поддержки никакой. Старший Полежаев всё чаще гневался на бесполезного сына.

Однажды осенним утром Иван Иванович надел праздничное платье, запряг лошадь, подложил для мягкости в повозку сенца побольше и отправился в путь. На выезде из города остановился у трактира, спросил штоф водки и чайник чаю: время холодное, путь дальний, немудрено и продрогнуть. На просёлке повозка вязла в грязи по самую ступицу, деревья вдоль дороги стояли чёрные от дождей. До Леонтия Николаевича Струйского он добрался уже в сумерках. В полутёмной прихожей тускло горела свеча в четырёхугольном висячем фонаре. На сундуке под фонарём сидел слуга и вязал на спицах чулок. К барину он Ивана Ивановича не допустил. Иван Иванович осерчал, полез на слугу с кулаками. Тот кликнул двоих товарищей на подмогу — где с ними всеми справишься! Барские холопы втроём били Ивана Ивановича. Беспokoйно качались на стенах большие чёрные тени. На шум явился управляющий, Михайла Семёнович Вольнов, спросил, в чём дело. Иван Иванович, утирая ладонью разбитый до крови рот, стал объяснять, что деньги почти все прожиты, приданое брали за Аграфеной, а мальчик растёт: за сына надо платить особо. Вольнов велел связать буяна, а сам пошёл к барину за приказаниями. Решили заявить в суд о драке, учинённой Полежаевым в доме господина Струйского, но до разбирательства дело не доводить: лишние разговоры про Аграфену и про мальчика были Леонтию Николаевичу нежелательны.

Михайла Семёнович поднёс судейским чиновникам сколько следовало, чтобы припугнули глупого и отпустили с миром. Иван Иванович воротился домой побитый: под глазом синяк, губа опухла, праздничная одежда изорвана. По дороге успел зайти в трактир — выпил для храбрости и чтобы стыдно не было перед людьми.

В швальне мастера пели песни. Иван Иванович остановился в дверях. Мальчик Саша, скинув валенцы и поджав по-порт-

новски босые ножонки, сидел на столе возле Гаврилы Уколыча.

— А ты, старик, всё врёшь? — сердито сказал Иван Иванович, подступая к столу. — Твоё дело — что? Шить. Вот и шей.

— Иглою шью да языком мелю... — отозвался Уколыч.

— А кулаком бью! — крикнул Иван Иванович и с размаху ударил старика по лицу.

Уколыч мотнул головой, утёр лицо ладонью, вздохнул и снова потянул свою нитку — нитка оборвалась.

— Эх, — вздохнул Уколыч, — швец Гаврила: что ни шьёт, всё гнило.

Иван Иванович замахнулся снова. Саша вскочил на ноги, крепко обнял Уколыча за шею, прижался щекой к его блестящей лысине. Иван Иванович замер с поднятой рукой. Чёрные глаза мальчика смотрели на него с ненавистью. Иван Иванович Полежаев отвернулся от стола, закрыл ладонями лицо и заплакал.

ПОКРЫШКИНО

От испутёвого сына Лёвушки — Леонтия Николаевича — было Александре Петровне много беспокойства. Другие дети тоже давно выросли, обзавелись собственными семьями. Надо было делить земли Струйских, имения, крестьян. По разделу досталось Леонтию Николаевичу сельцо Покрышкино и при нём сто двадцать восемь крепостных душ. В помощь Лёвушке дала Александра Петровна верного управляющего Михайлу Вольнова.

В назначенный день Леонтий Николаевич приехал в своё Покрышкино. В комнатах с бревенчатыми стенами пахло вымытыми полами, свежим сеном, которым набили тюфяки, горьковатым дымом протопленных после долгого перерыва печей, сухой полынью, пучки которой висели по углам. Перед окнами на голом дворе копались в пыли куры, и сами куры были пыльные. Посреди двора когда-то была разбита круглая лужай-

ка, куртина: теперь трава была вытоптана, деревца, окаймлявшие куртину, зачахли. Леонтий Николаевич понял, что жизнь в Покрышкине ждёт его скучная.

Он приказал собрать мужиков; крестьяне сходились лениво, нехотя. К своим рабам Леонтий Николаевич вышел в зелёном офицерском мундире без эполет, в высоких сапогах. Объявил, что править намерен по-батюшкиному, без пощады. Лицо у него было бледно, щёки впалые, блестящие чёрные глаза навывкате, тонкие губы дёргались. Мужики постарше, глядя на него, толкали друг друга локтем: точь-в-точь покойный Николай Еремеевич — житьё теперь будет худое. Леонтий Николаевич приказал старосте отобрать десять нерадивых мужиков, тотчас высечь и бороды им обрить — для позора.

Настали в Покрышкине тяжёлые времена. Новый барин властвовал жестоко. Без его воли не смели рабы ни пойти, ни поехать, ни посеять, ни убрать, ни продать, ни купить, ни свататься, ни жениться, ни, казалось, даже вздохнуть. Виновных пороли розгами и плетью, били кнутом, запирали голодом в конюшню на целую неделю, мужикам брили бороду или, точно каторжникам, половину головы. Леонтий Николаевич сам судил-рядил, молодых парней сдавал в солдаты. Крестьянские тяготы умножились. Требовал помещик без счёту с крестьянских дворов и деньги, и скот, и птицу. С соседями он враждовал также не хуже отцовского. Тех, кто побогаче, таскал по судам, у бедных отнимал землю силой...

И всё-таки тоскливо было Леонтию Николаевичу в Покрышкине. И, тоскуя, всё чаще вспоминал он Аграфенину красоту.

МИХАЙЛА ВОЛЬНОВ

В Покрышкине взял Михайла Семёнович Вольнов и вовсе большую власть. Барин без него шагу не ступал. Мужики перед ним заискивали, при встрече кланялись ему в пояс. Лапти

Михайла совсем перестал носить, даже по деревне разгуливал в сапогах.

Бывая по делам в Саранске, Михайла Семёнович частенько наведывался к Полежаевым, разузнавал, как и что, вручал Саше розовый фигурный пряник или петушка леденцового; случалось, оставлял и деньжонок. Как-то заглянул с утра, когда Аграфена хозяйничала дома одна, передал от барина поклон и подарок — платок шёлковый, вышитый золотыми цветами, сказал, что Леонтий Николаевич сильно по ней тоскует. Аграфена зарумянилась и промолчала, но подарок приняла. Иван Иванович, возвратясь домой, раскричался, грозил господина Струйского и его холопа Михайлу вывести на чистую воду, платок изорвал.

Михайла уговаривал барина, что Иван Полежаев — человек слабый, в деньгах имеет нужду, самое простое и безопасное дело — купить у него Аграфену. Он за деньги её взял, за деньги и вернёт. Заплатить ему сразу побольше, чтобы навсегда убрался из Саранска, а там без спеха перевезти Аграфену в Покрышкино. Леонтий Николаевич дал Михайле денег и велел поступать по собственному разумению.

Поздним декабрьским вечером видели купеческого сына Ивана Полежаева с покрышкинским управляющим Михайлой Вольновым в питейных заведениях, вечер был ненастный, метель крутила, ветер протяжно гудел. Домой Иван Иванович не вернулся.

Спустя три недели старший Полежаев подал в суд заявление о пропаже сына и винил в том крепостного человека господ Струйских — Михайлу Вольнова. Разбирательство потянулось долгое. Пока нашли свидетелей, пока допросили... Одни говорили, что точно гулял Вольнов с пропавшим Иваном Полежаевым, другие, что не гулял, третьи не знали, четвёртые не помнили. Сам Михайла не отпирался: был грех, в кабаки заглядывал, и не в один тот несчастный вечер, но также и в другие вечера, знакомого народу встречал там много, видал и Ивана Ивановича,

но про исчезновение его ничего объяснить не может. Пополз было слушок, будто поил Михайла молодого Полежаева, убеждая взять отступные деньги за Аграфену, а потом увёз за город, убил, деньги же присвоил. Но за такое, если не докажешь, сам под суд угодишь. Между собой шептались, а при чужих помалкивали.

Леонтий Николаевич на расходы не скупился. Никого из судейских не позабыл — ни главных чиновников, ни средних, ни вовсе мелких — писцов, посыльных. Все в суде смотрели на него доброжелательно и с благодарностью. Маменька, Александра Петровна, хотя и сердилась на сына за недостойные проделки, позорить Струйских не желала. Староста Александры Петровны являлся из Рузаевки в город с обозами, по дворам городских чиновников развозил телеги, гружённые мешками, бочонками, коробами, в них мучица, пшеничная и ржаная, огурчики солёные, капуста розовая, квашенная со свекольным соком, варенья, птица мороженая, заготовленная ещё с осени.

Суд вынес приговор: передать дело воле божией.

ДЯДЯ ЯКОВ

Аграфена в Покрышкине не зажила. Вскоре после переезда занемогла, хворала недолго и умерла. Саше не исполнилось ещё и шести.

Жили они в большой избе при господском дворе. Вместе с ними в той же избе жила материна сестра Анна, выданная барином замуж за дворового сапожника Якова, да сын Михайлы Вольнова, семнадцатилетний лакей Иван, да жена его, тоже семнадцать лет, да дворовый столяр Роман.

После смерти матери стали воспитывать Сашу тётка Анна и дядя Яков.

Тётка уходила с утра на скотный двор, дядя работал дома.

В избе сооружён был верстачок: в ременные петли вставлены шила прямые и кривые, остро заточенные ножи, молотки, тут же стояли деревянные колодки — натягивать обувь при шитье, лежали свёрнутые трубкой обрезки кожи, мотки толстой просмоленной нити — дратвы.

Дядя Яков садился на низенький табурет с подпиленными ножками, на деревянную колодку, поставленную между колен, натягивал начатый сапог и принимался за работу. Саша устранился рядом на маленьком чурбачке.

Сапоги шили не иглой, а длинной тонкой щетинкой — от неё кожа портится меньше, дырочки, сквозь которые протягивается нить, мельче, шов получается крепкий, не пропускает воду и пыль. Дядя Яков вкручивал — всучивал — щетинку в просмоленный конец нити, тонким шилом прокалывал кожу, осторожно вводил в дырочку дратву. Движения у дяди точные, рука ходит будто сама по себе. Сперва шилом быстро клюнет — вперёд-назад, потом неспешно тянет нить. Лоб у дяди наморщен, с сапога Яков глаз не сводит: кожа на сапоге барская, а на спине своя.

Дядя Яков знал грамоту. В углу под иконой, на полочке, покрытой салфеткой, хранил он толстую книгу. Вечером в праздники дядя мыл руки, доставал книгу, раскладывал её на столе, подстелив чистое полотенце, и долго читал, водя по строчкам пальцем и шевеля губами. Потом он любил пересказывать напечатанные в книге короткие повести.

— Шёл матрос на корабль, а плыть ему было в Ледовитый океан, — рассказывал дядя Яков. — Встретил его мудрец и спрашивает: «Скажи мне, братец, где твой отец помер?» Матрос говорит: «С кораблём потонул». — «А дед?» — «Тоже потонул. Рыбу ловил в бурную погоду». — «А прадед?» — «И прадед в море пропал». — «Как же ты, — говорит мудрец, — безрассудный ты человек, не боишься плыть в океан!» Тогда матрос спрашивает: «А где, господин мудрец, твои отец, дед и прадед померли?» — «Мои все дома, в постели». — «Как же ты, —

говорит матрос, — безрассудный ты человек, не боишься в постеле-то ложиться!»

Саша смеялся, и дядя Яков смеялся, не отводя глаз от сапога, а рука его всё ходит — то шилом кольнёт туда-сюда, то нитку тянет.

Заглянул в избу барин Леонтий Николаевич. Дядя Яков и Саша встали с мест, поклонились в пояс. Леонтий Николаевич крепко взял костлявыми пальцами Александра за подбородок, поднял его голову. Глаза у Александра чёрные, смотрит в упор, без боязни.

КНИГА «ПИСЬМОВНИК»

В давние времена жил необыкновенный человек — Николай Гаврилович Курганов. Солдатский сын, он благодаря таланту и трудолюбию стал профессором Петербургского морского корпуса, учил будущих офицеров флота математике, астрономии и науке о вождении кораблей — навигации. Он участвовал в экспедициях, составлял карты морей. Курганов написал книги по арифметике, геометрии, геодезии — науке об измерении земли и составлении планов и карт, по кораблевождению и военной тактике флота, по военно-инженерному делу — фортификации — и береговой обороне. Но самая известная книга Курганова называлась — «Письмовник».

Полное название «Письмовника» такое: «Книга Письмовник, а в ней наука российского языка с семью присовокуплениями разных учебных и полезнозабавных вещесловий». «Наука российского языка» — это русская азбука и грамматика. К ней присоединил («присовокупил») Курганов семь дополнений (или, по-старинному, «присовокуплений»), в которых содержались учебные, полезные и забавные сведения («вещесловия»). В одном присовокуплении были собраны русские пословицы, в другом — короткие шуточные истории, в третьем — рассужде-

ния древних мудрецов, в четвёртом — поучительные разговоры о многих важных предметах, в пятом — разные стихотворения (или «стихотворения»), в шестом — рассказы о науках и искусствах, седьмым присовокуплением был словарь с объяснением — толкованием — смысла иностранных слов (или «слово-толк»).

Читатели очень любили книгу «Письмовник»: по ней и грамоте можно было научиться и можно было узнать из неё в самом деле много полезного и забавного. Хороша была книга и тем, что полезные истории рассказывались в ней забавно, занимательно, а забавные непременно оказывались полезны. Курганов давно умер, а «Письмовник» печатали снова и снова. Его нетрудно было увидеть в палатах вельможи и в барских хоромах, в мастерской ремесленника и в крестьянской избе. Случалось, кроме «Письмовника», в доме других книг и не было.

Дядя Яков вставлял в кованую железную подставку — светец — берёзовую лучину, засвечивал, застилал стол полотенцем, сам руки мыл и Сашу заставлял мыть и снимал с полки книгу «Письмовник». Азбуку Саша выучил бойко. Три дня прошло, сыпал на память названия букв: *А* — «аз», *Б* — «буки», *В* — «веди», *Г* — «глаголь», *Д* — «добро» — и до самой последней, до *Я*. *Я* так и была — «я». К концу недели Саша научился складывать из слогов слова, а через месяц читал «Письмовник» вслух без запинки с любой страницы. Тётка Анна слушала его, подперев кулаком щёку, и плакала, что мать не дожидала до такого счастья.

Особенно полюбил Саша стихи. Вот ведь чудеса: обыкновенные слова, а так расставлены, что получается складно.

В барабаны когда грянут,
У солдат кровь закипит,
Все готовы к бою станут,
Всякий рад колоть, рубить.

А поставь те же слова по-другому: когда в барабаны грянут, у солдата закипит кровь — и ничего не получится...

Леонтий Николаевич застал Александра над книгой, открыл «Письмовник» где придётся — читай! Александр начал лихо, почти наизусть:

При долине за ручьём пастушка гуляла,
Глядя туда и сюда, как что примечала:
То пойдёт, то постоит, за ручей часто глядит,
Только в роще пастуха она не видала...

Губы у Леонтия Николаевича задёргались в усмешке. Объявил Якову:

— Пришлю учебник арифметики да историю российскую, будешь его учить.

УРОКИ ИСТОРИИ

Александр читал рассказы из русской истории. Про давно минувшие времена, про походы князей и княжеские междоусобицы, про набеги врагов и доблесть русских воинов...

А российская история продолжалась.

...В ночь на 12 июня 1812 года французский император Наполеон приказал войскам переправляться через Неман, и первые триста всадников поплыли к русскому берегу. Музыка и песни разносились над тёмной водой. Ни один из прежних походов наполеоновской армии не начинался так весело и оживлённо. Лишь несколькими его участникам вид бурой равнины с чахлой растительностью и далёкими чёрными лесами на горизонте показался зловещим, но радость первых побед помогла быстро забыть недобрые предчувствия. Началась война, которую русский народ сразу назвал Отечественной — война шла за независимость Родины, Отечества.

Сельцо Покрышкино от войны за полями, за лесами, за долгими дождями, за глубокими снегами, но и туда добирались вести о Бородинском сражении, об оставлении Москвы, о по-

спешном бегстве неприятеля; и там, в людской избе, ждали с волнением всякой новости. От горькой новости — слёзы на глазах, от доброй — сердца наполнялись гордостью.

Дядя Яков, посланный по господским делам в город, привёз оттуда книжечку про войну, печатные листки и картинки.

Саша читал:

«В армии Наполеона клеймят солдат, поневоле вступающих в его службу. Следуя сему обыкновению, французы наложили клеймо на руку одного крестьянина, попавшего им в плен. Он с удивлением спросил, для чего его клеймили. Ему отвечали: это знак вступления в службу Наполеона. Крестьянин выхватил из-за пояса топор и отсек себе руку».

Саша читал другой рассказ:

«С места сражения вынесен был солдат, раненный в грудь пулею. Когда лекарь стал его осматривать, то, желая знать, остановилась пуля или вышла, стал щупать ему спину. Воин, истекая кровью и едва дышащий, сказал бывшим тут офицерам:

— Ваше благородие, скажите лекарю, к чему он мне щупает спину? Ведь я шёл грудью!»

Картинки были весёлые.

На одной мужик верхом на лошади с плетью в руке, перед ним на коленях пять французов. Тут же подпись: «Крестьянин Павел Прохоров, нарядившись в казацкое платье, увидев и догнав пять французов, погрозив им нагайкою, заставил их просить пардон». И стихи:

Хвала тебе и честь, добрый Павел!
Через это дело ты себя прославил.

На другой картинке сам Наполеон пляшет вприсядку, один крестьянин подгоняет его кнутом — «И мы, брат, слышали погудку, вприсядку попляши теперь под нашу дудку», второй крестьянин с розгой заставляет плясать наполеоновского маршала — «Ну, брат, не отставай и знай из рода в род, каков русский народ»...

По царскому указу на время войны собирали дополнительное войско — ополчение. Помещики выставляли нужное число ратников из крепостных крестьян. Полагались ратнику — суконный кафтан, шаровары, две рубахи, кушак и три пары запасных лаптей. Из оружия давали — пики, топоры и даже рогатины, с какими мужики на медведя ходят. В ратники шли с охотой: и за Отечество рады были постоять, и слух был, что всем, кто воевал, после победы будет воля. Передавали, будто есть царский указ за золотой печатью: ратников обратно господам не возвращать, — но господа тот указ от народа скрывают. В Саранске и другом недалёком городе Инсаре ратники арестовали офицеров, выбрали своих начальников, искали настоящий указ. Решили идти прямо на войну, напасть на врага, разбить его, а потом явиться к царю с повинной и в награду за службу просить свободу от помещиков. К Саранску и Инсару стянули большое войско, города окружили, бунтовщиков захватили в плен. Расправа была жестокая: наказывали ратников розгами и палками, заковывали в цепи, гнали на каторгу и в вечную ссылку. На площади крови было пролито что в сражении с неприятелем. Из близкого Саранска и недалёкого Инсара доходили вести до Покрышкина.

...И всё это были уроки российской истории.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ИГРЫ

Любимые деревенские игры были свайка и бабки.

Свайка — это длинный, толстый гвоздь с большой, тяжёлой шляпкой, головкой. Свайку берут за остриё — за хвост — и сильным броском втыкают в землю, стараясь попасть в лежащее на земле железное кольцо.

Александр — знаменитый игрок в свайку. Ростом он был невелик, сложением тонок, но в движениях быстр, руки имел сильные, глаз меткий.

В бабки сила не так нужна, как точность глаза и сноровка. На особо отведённое место — кон — ставят обыкновенные игорные бабки, надкопытные коровьи косточки, и издали выбивают их боевой бабкой — биткой. Чем битка тяжелей, тем лучше; самая лучшая битка — залитая изнутри свинцом, свинчатка. Дядя Яков, будучи в Рузаевке, выпросил у сторожа давно пришедшей в упадок типографии комочек свинца и сделал Саше свинчатку. Саша берёт её пуще ока, прятал за деревянным подголовником на полатах (там, на полатах — дощатом настиле под потолком избы — обычно спали дети). Свинчатку брал Саша только на большую игру, — с ребятами из соседних деревень; со своими обходился гвоздырём — в бабку для веса был забит гвоздь.

Дядя Яков, отложив сапожную работу, выходил на крыльцо, смотрел, как Саша с размаху вонзает в кольцо свайку, как метким ударом выбивает с кону бабки, думал про непонятную Сашину судьбу. Числится мальчик не крепостным, вольным, а всё одно в господских руках. Будет барская воля — отдадут в школу, ремеслу какому выучат, пожалуют кусок хлеба, а не пожелают — прогонят прочь, по миру пустят...

Однажды прибежал управляющий Михайла Вольнов, суетился:

— Одевай мальчика в праздничное, да поживее! Приказано в Рузаевку его везти, к старой барыне, к Александре Петровне.

В Рузаевке Михайла Семёнович привёл Александра в удивительную комнату на верхнем этаже. За стёклами — в шкафах — книг, наверно, целая тысяча, все в коже, с золотыми надписями по корешку. Книги лежали также стопками на столе, на стульях, прямо на полу. На письменном столе разбросаны были бумаги, сломанные гусиные перья, рядом стояли сразу три чернильницы — стеклянная, серебряная и бронзовая, тут же высокая рюмка, в ней палочка сургуча. Вдоль стен увидел Александр фигуры странных женщин, сделанные из белого кам-

ня. Старая барыня в тёмно-вишнёвом бархатном платье, в высоком белом чепце с лентами, сидела за столом; справа от неё, вытянув ноги, устроился в кресле Леонтий Николаевич — быстро взглядывал выпуклыми глазами то на мать, то на Александра, кривил в усмешке губы, беспокойно постукивал себя тонкой плёткой для верховой езды по высоким сапогам; Михайла Вольнов почтительно вытянулся у него за спиной.

Рузаевская госпожа внимательно разглядывала Александра. Мальчик хрупкий, но не робок, стоит перед ней свободно, смотрит прямо в глаза, взор пронзительный, тревожит. Одет прилично, кафтанчик синего сукна, сшит просто — должно быть, тётка, скотница Анна, сама и шила.

Александра Петровна спросила, чему мальчик обучен. Леонтий Николаевич, быстро постукивая плёткой, объяснил, что по его приказу учат мальчика читать, писать, также арифметике и российской истории. Михайла степенно погладил рыжую бороду и было прибавил, что сапожник Яков у них в Покрышкине первый грамотей, но под строгим взглядом барыни осекся, проворно поклонился и даже прикрыл ладонью рот.

Госпожа спросила Александра, какие книжки он любит читать. Александр отвечал, что «Письмовник», в «Письмовнике» же всего больше любит стихи. Госпожа обвела взглядом фигуры муз по стенам и задумчиво сказала, что поэзия ещё никому не принесла счастья. Она приказала Александру читать стихи. Он посмотрел на Леонтия Николаевича, на Михайлу, тянувшегося за спинкой его кресла, и сразу прочитал первые, что пришли на память:

Бояре кушают, иль попросту сдят,
А слуги, стоячи за стульями, глядят...

Леонтий Николаевич перестал хлопать плёткой. Александра Петровна улыбнулась, отчего её тёмные глаза ожили, засияли. Внучек оказался интересным. Сказала сердито: мальчику тринадцатый год, пора учиться по-настоящему, а не у сапожника

Якова. Надо к осени отвезти Александра в Москву, деньги она даст. Поднявшись с места, приказала как следует накормить мальчика перед обратной дорогой, да не в людской, а за барским столом, когда сами господа отобедают.

МОСКВА

Две круглые кирпичные башни с железными верхушками возвышались по обе стороны дороги. Это был въезд в Москву — московская застава. Прежде отсюда, от заставы, начинались первые улицы города, но после пожара 1812 года дома на окраинах ещё не успели отстроить заново: возок, проехав между башнями, продолжал катить будто не по улицам, а по большой дороге — вокруг лежали пустыри, ветер поднимал над ними тёмную пыль. Лишь некоторое время спустя показались первые заборы и следом новые срубы домов — пахло деревом, блестели на солнце розовые щепки. Вокруг центральной части города строили дома, оставляя между ними широкий проезд, перед домами приказано было разбивать сады — так начиналось Садовое кольцо. В центре возле свежепокрашенных с выбеленными колоннами зданий ещё оставались кое-где страшные, дочерна выгоревшие изнутри каменные коробки без окон, без крыш.

Александра привёз в Москву сам Леонтий Николаевич; для услуг взял с собой и Михайлу Вольнова. Остановились возле гостиницы. Завидев подъехавший экипаж, вышел коридорный слуга в сером засаленном сюртуке с торчащими усиками ниток на месте оторванных пуговиц, нехотя помогал Михайле отвязывать укреплённый на крыше возка сундук. Александр одет был барчуком — нарядная курточка, сшитая по заказу Александры Петровны саранским портным, светлые брюки в обтяжку, сапожки. Леонтий Николаевич поселил Александра с собой в номере, Михайлу же послал с кучером искать пристанища на

постоялом дворе попроще. Александр вдруг заметил, что Михайла стал говорить ему «вы».

Обедали в хорошем трактире. Леонтий Николаевич обнаружил за соседним столом каких-то давних своих знакомых, ещё по армейской службе, подошёл, поговорил о чём-то и отпустил Александра погулять одного — только чтоб не заблудился. Дал ему медных денег на лакомство.

Александр спустился по широкой улице и вышел на Красную площадь. Он тотчас узнал по картинкам и высокую зубчатую стену, и башни, и расписные маковки храма Василия Блаженного. На площади кипела работа. Весело стучали топоры, плотники тесали брёвна. Каменщики, ловко размазывая лопаткой известь, быстро клали один на другой бруски кирпича. Возводили на площади новые Торговые ряды. Прогуливались по площади горожане, останавливались возле мастеровых, глядели стройку. Сновали в толпе разносчики, предлагали сбитень горячий, пряники, леденцы, яблоки, орехи. Вынырнул рядом с Александром мальчишка-сбитенщик, в красной рубахе на выпуск, в руке пузатый медный чайник:

— Сбитень-сбитенёк, пьёт щеголёк!

Глаза у мальчишки жёлтые, широко расставленные, нос пуговицей, по всему лицу мелкие крапинки веснушек — точь-в-точь кукушкино яйцо. Александр пощупал в кармане монеты, мальчишка сразу пристал:

— Барин не скуп — захочет, даст и рупь. Выпей, барич, сбитню.

Александр вынул из кармана целых три копейки, протянул мальчишке. Тот налил ему кружку сбитню, пряного, медового. Александр выпил залпом, даже голова закружилась.

Мальчишка спросил, кто он да откуда. Александр объяснил, что приехал в Москву с отцом из дальнего имения — поступать в гимназию. Про себя мальчишка рассказал, что потерял родителей во время московского пожара да так и не нашёл; хорошо, один купец сердобольный взял его разносчиком, а то

бы помер с голоду. Купец ничего, добрый, только дерётся сильно. Александр изумился:

— Так ты французов видал? -

Мальчишка побожился, что не просто французов, а самого Наполеона видал, как тот бежал из Москвы: вон из тех ворот, из Спасских, выехал, санки лёгкие, запряжены тройкою, лошади все серые в яблоках. На голове у Наполеона высокая медвежья шапка...

В гостиницу Александр возвратился в сумерках. Лечь без спроса в постель с перинами, простынями, пуховыми одеялами не посмел. Свернулся на жёстком диванчике у стола и сразу заснул.

На следующий день Леонтий Николаевич был мрачен и молчалив. Михайла шепнул Александру:

— В карты проигрались.

...Испытания в гимназии оказались несложны: велели по книге прочитать полстраницы да написать под диктовку несколько фраз; задачку по арифметике Александр не решил — как решать, знал, а с ответом не сошлось. Всё равно приняли. Жить оставили при гимназии — в пансионе. Плата за учение — четыреста пятьдесят рублей в год. Форменную одежду тоже надо самим справиться.

Денег у Леонтия Николаевича не осталось ни копейки — все проиграл. Хорошо, у Михайлы Вольнова оказались свои да барыня дала на разные поручения. Выкрутились.

Как покончили с делами, Леонтий Николаевич решил не медля трогаться в обратный путь. Стали прощаться. На Александре уже форма: синий мундир с малиновым воротом, обшитым серебряным галуном, треугольная шляпа. Леонтий Николаевич дёрнул губами, вдруг нагнулся, обнял Александра, неловко поцеловал в макушку.

КОНЕЦ ПОКРЫШКИНА

Вскоре после возвращения из Москвы Леонтий Николаевич сильно разгневался на верного своего Михайлу Вольнова. Почудилось ему, будто Михайла донёс на него лишнее маменьке, Александре Петровне. Ах, Вольнов, много воли взял! А всё оттого, что знает много. Пришло Леонтию Николаевичу в голову заставить Михайлу Вольнова молчать.

Поздно вечером послал за управляющим и прямо у ворот накинулся на него с кулаками. Велел слугам тут же, на дворе, сечь Михайлу розгами. Не посмели ослушаться, секли; сам барин бил верного раба ногами. Ивану, Михайлову сыну, приказал держать свечу, чтобы виднее было бить. Михайла сначала оправдывался, но господин от его слов распаялся ещё сильнее. Михайла замолчал, только стонал. Скоро был он весь в крови, дворовые, что секли, побросали розги: «Воля ваша, батюшка, а только этак совсем убьём». Леонтий Николаевич закричал на них, схватил полено, стал бить лежащего Михайлу по чему попало. Иван, Михайлов сын, со свечёй в руках, трясся от ужаса: боялся, как бы свеча не погасла. Барин, наконец, устал, бросил полено, ушёл в дом. Мужики отвели управляющего в холодную избу, положили отлёживаться на лавку, повинились: «Ты уж на нас, Михайла Семёнович, не серчай, люди подневольные». Вольнов был в беспамятстве. Утром его нашли мёртвым.

Слухи, что умер Вольнов от барских побоев, доползли до города. Власти нарядили следствие. Накануне приезда следователей Леонтий Николаевич приказал дворовым молчать: говорил, что он всё равно откупится, тех же, кто хоть словцо против него вымолвит, грозился наказать пострашнее, чем Михайлу. Приехавших из города чиновников и доктора всю ночь поил и кормил; мужикам-музыкантам велел играть для гостей на балалайке, а молодым бабам петь да плясать. Написало следствие бумагу, что скончался Михайла Семёнович Вольнов от полнокровия.

Но, как говорится, на всякий роток не накинешь платок. Пономарь саранской церкви, женатый на Михайловой дочери, подал новое прошение: объяснил и причину смерти тестя, и ход первого следствия. Дело тянулось долго. Леонтий Николаевич отпирался. Но крестьяне на этот раз заговорили. Был Леонтий Струйский по приговору суда лишён дворянства и сослан в Сибирь.

Никого не осталось у Александра Полежаева — ни матери, ни отца, ни того, кто считался отцом.

...Была в «Письмовнике» такая повесть. Царь спросил мудреца: «Богат ли ты?» — «Так же, как ты, — ответил мудрец. — И у тебя, и у меня только одна жизнь».



«СУДИТЬ РЕШИТЕЛЬНО И СМЕЛО УМОМ СВОИМ О ВСЕХ ВЕЩАХ»

Александр Полежаев



УРОКИ СЛОВЕСНОСТИ

Н од окном классной комнаты стоял старый ясень. Во время войны дерево сгорело — только кривой чёрный ствол торчал из земли. Но настала новая весна, и мёртвое, казалось, дерево ожило. Тут и там вылезли пучки тоненьких зелёных ветвей, набухли почками, засверкали мелкими листьями. С каждым годом ветви прибавляли в длину, делались толще, крепче, выбрасывали свежие побеги, постепенно окружая новой кроной слом ствола...

В гимназии учились четыре года: считалось, что дети поступают туда уже подготовленные. Предметы были: латынь, языки французский и немецкий, русская словесность, математика, естествознание, история и география.

В шесть утра появлялся в спальне сторож, отставной солдат, — что было силы тряс колокольчиком. Поднимались нехотя, умывались над лоханью, поливая друг другу на руки из медного кувшина. Завтрак был скудный: каша, чёрствые остатки пирога от вчерашнего обеда. При годовой плате в четыреста пятьдесят рублей выходило на каждого воспитанника один рубль двадцать три копейки в день — из них надо было взять и на питание, и на жалованье учителям, и на учебники, и на содержание помещения.

Пансион, куда отдали Александра, был для барских детей — для «благородных». При той же гимназии имелся пансион и для детей «простого» звания, там плата была меньше и кормили совсем худо — утром кусок чёрного хлеба, в обед пустые щи да гречневая каша-размазня.

Родители побогаче присылали сыновьям деньги, чтобы прикупали еду, а также на лакомства, на книги, на развлечения. Госпожа Александра Петровна Струйская своё слово держала — и за учение платила, и на расходы деньжонок подбрасывала.

В классах топили плохо — берегли дрова. Из окон дуло, от щелястых полов тянуло холодом.

На уроках русской словесности изучали не только самую словесность — грамматику и литературу, но также науку размышлять, или логику, науку о душевных свойствах человека и его поведении — этику, науку о прекрасном в жизни и в искусстве — эстетику, ораторское искусство — риторику, или красноречие. Учитель словесности, тяжело ступая, шагал из угла в угол, диктовал по книге длинные непонятные фразы — их требовалось запоминать наизусть. Запоминались они хуже, чем латынь или французский: там можно было перевести и понять, а здесь — вроде бы по-русски, но ничего не поймёшь.

Александр Полежаев смотрит в окно на старый ясень. Сидит на ветке ворона, внимательно оглядывает весь мир вокруг круглым жёлтым глазом. Ветер тормозит на ней серые перья. Учитель словесности тяжело шагает по классу, диктует из потрёпанной книги приёмы стихосложения — пиитики. Александр его не слушает. Всё равно на испытаниях учитель посадит всех рядком и будет спрашивать по очереди: пока один пыхтит, стараясь повторить на память неповоротливое сочетание слов, следующий зубрит по тетрадке ту фразу, что идёт дальше.

Стихосложение-пиитику Александр усваивал не на скучных уроках, а по стихам русских поэтов. Книги стоили дорого. У гимназистов было заведено: если кто купил книгу, должен, когда прочтёт, отдать товарищу. Ходили по рукам стихи извест-

ных поэтов — Батюшкова и Жуковского, басни Крылова. Их не приходилось затверживать — сами оставались в памяти. Стихи учили думать и чувствовать, различать прекрасное в жизни, ясно и выразительно передавать свои мысли. Русская литература — словесность — сама учила всему, что на уроках словесности непонятно втолковывал школьникам учитель...

Александр не заметил, как стал складывать стихи. Едва в его тетрадке появились первые стихотворные строчки, ему стало казаться, будто он всегда думал стихами.

Он сочинял весёлые стихи о своих товарищах, об учителях, о школьных шалостях и проделках. Подражая настоящим поэтам, он писал послания возлюбленным, которых у него не было.

Учитель словесности узнал про его страсть. Иногда в классе он просил Полежаева прочитать стихи собственного сочинения. Александр не отказывался. Учитель слушал его, низко склонив большую, поседевшую голову, и думал, что, будь у него самого такой хороший учитель словесности, как у Полежаева, глядишь, и он сделался бы поэтом.

ПОТОМКИ ГЕРОЕВ

Ранней весной 1817 года водным путём из Петербурга в Москву был отправлен памятник Минину и Пожарскому, изваянный скульптором Иваном Петровичем Мартосом.

Скульптор прославил героев, которые двумя столетиями раньше спасли Отечество.

В начале семнадцатого века армия польского короля вторглась в русские земли, захватила Москву, Кремль. Бояре заботились только о своих правах и богатствах, они смирились с поражением и признали русским царём иноземного королевича. Но народ не пожелал жить под властью захватчиков. Он готов был сражаться с ними. Новгородский гражданин Кузьма Минин

начал собирать народное ополчение. Командиром ополчения был избран князь Дмитрий Пожарский. К жителям Нижнего Новгорода скоро присоединились русские люди из других городов, из сёл и деревень. Каждый, кто был в силах держать в руках оружие, хотел внести свою долю в борьбу с врагом. В упорной борьбе ополченцы разгромили неприятельскую армию, прогнали захватчиков из Москвы, освободили свою страну.

Скульптор изобразил своих героев в решающую минуту их жизни. Минин призывает раненого князя Пожарского возглавить войско; князь, слушая его, задумался — он понимает, какое трудное и какое важное дело у него впереди. Но точное движение, переданное скульптором, убеждает зрителей: ещё мгновение — и Пожарский поднимется, чтобы повести народ.

Мартос работал над памятником долго, почти пятнадцать лет. Он начал работу, когда русские войска вели первые бои с армией Наполеона, а закончил уже после Отечественной войны 1812 года, после изгнания французов из Москвы, из России. И конечно, размышления об этих событиях помогали скульптору. Он как бы сам пережил всё, что двести лет назад пережили его герои — Минин, Пожарский, русские ополченцы. Он понял, что никакая сила не заставит наш народ покориться врагу, прочувствовал тяготы и опасность войны, радость победы. Сын скульптора участвовал в боях с наполеоновской армией, и на выпуклом скульптурном изображении, барельефе, помещённом на подножии памятника, Мартос изваял самого себя в виде нижегородца, посылающего сыновей сражаться за Родину.

И вот памятник повезли на корабле из Петербурга в Москву, чтобы воздвигнуть его на Красной площади в честь пятилетия Отечественной войны 1812 года. Путь лежал через Нижний Новгород. Когда памятник доставили туда, горожане, потомки Минина, с утра до позднего вечера тянулись к причалу — поклониться героям.

А в это время посуху из Петербурга в древнюю столицу двигался на юбилейные празднества царский двор, шли походом гвардейские полки.

Среди гвардейских офицеров были люди, которые не хотели мириться с положением дел в России — с безграничной властью царя, рабством крестьян, беззаконием, бесправием. Эти люди считали, что самовластье и рабство позорят великую страну.

Они повторяли слова крестьян, вчерашних воинов: «Мы проливали кровь, а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас опять тиранят господа».

Они вспоминали, как после победы над Наполеоном гвардия возвращалась в Петербург. Царь Александр Первый на рыжем коне ехал впереди колонны. Вдруг улицу перед ним перебежал мужик. Царь пришпорил коня и бросился на мужика с обнажённой шпагой. Храбрым боевым офицерам было стыдно за царя.

Они собирались и размышляли о том, как избавить Россию от царя, от рабства, как сделать её справедливой и свободной страной. Собирались они, конечно, тайно, чтобы их рассуждения и споры не подслушал никто чужой. Так складывались тайные общества.

Когда гвардия, сопровождавшая царский двор на празднование пятилетия Отечественной войны, прибыла в Москву, некоторые из офицеров решили, что настала пора действовать. Один из них объявил, что возьмёт два пистолета, пойдёт в Кремль, к Успенскому собору, и, когда после торжественного молебна царь выйдет из храма, одним выстрелом убьёт его, а другим себя. Тогда, говорил он, это будет не убийство, а как бы поединок. Но на место убитого царя мог сесть новый, ещё более жестокий тиран, — неизвестно, захочет ли он ввести справедливые законы, освободить крестьян. И участники тайного общества решили серьёзнее обдумать свои будущие действия, лучше подготовиться к выступлению...

По случаю пятилетнего юбилея Отечественной войны учитель заказал Александру торжественное стихотворение — оду. Для примера дал ему оду великого Ломоносова, написанную восемьдесят лет назад на победу над турками:

Крепит Отечества любовь
Сынов российских дух и руку;
Желает всяк пролить всю кровь,
От грозного бодрится звуку...

Александр сердито ломал перо в перемазанных чернилами пальцах, рвал исписанные листы. Ода не получалась. Приходили в голову и звонкие слова, и рифмы, но чувствовал Александр — его голоса не слышно: не Полежаев говорил в оде, а Ломоносов, которому он подражал.

В промозглый февральский день школьников повели на Красную площадь — смотреть открытие памятника Минину и Пожарскому. Александр стоял в толпе у Торговых рядов, за спиной памятника. Сырой снег сыпал не переставая; под ногами хлюпала слякоть. По площади торжественным маршем проходили войска. Шагали широкой колонной по пятнадцать в ряд, крайним слева в каждом ряду шагал барабанщик. Ряды держали равнение на памятник — подбородки у солдат браво приподняты, взор устремлён в одну точку.

Александр вообразил себя бывалым воином, выдавшим Бородино, гнавшим неприятеля от Москвы, из России.

Вот он шагает в строю, невысокий, на левом фланге, — грудь вперёд, руки плотно прижаты к бокам, нога с вытянутым в струнку носком поднимается высоко и затем опускается крепко, на всю ступню, летят из-под ноги снежные брызги; рядом барабанщик, часто взмахивая палочками, выбивает дробь. Вскинув подбородок, Александр схватывает взглядом бронзового Минина, зовущего к бою, Пожарского, готового подняться с мечом: герои двенадцатого года перед героями-предками клянутся в верности Отечеству. Александру чудится: он слышит слова

клятвы. Он повторяет их, губы его шевелятся. Слова ложатся строго, крепко — парадным печатным шагом.

Александр позабыл, что ноги замёрзли, что сырость пробралась за воротник.

Ода получалась.

...Памятник Минину и Пожарскому установили на Красной площади, лицом к кремлёвской стене, спиной к Торговым рядам. Он сразу же пришёлся по душе москвичам. Они любили подолгу разглядывать памятник, друзья назначали возле него встречи, перед ним всегда толпился народ. Люди с уважением смотрели на отлитых в бронзе героев своей истории: широким взмахом руки Минин как бы обводил просторы ждущей свободы земли, Пожарский поднимался, опираясь на меч.

ПОЭТЫ

Кроме обычных испытаний, в гимназии, где учился Полежаев, устраивались открытые экзамены. В назначенный день съезжались гости — учёные, писатели, чиновники; ученики выходили один за другим и перед всеми отвечали на вопросы учителя, пересказывали отрывки из книг, декламировали стихи, читали собственные сочинения на разные темы.

Александр был уже в последнем, четвёртом классе, когда на экзамен по русской словесности пришёл профессор университета и поэт Алексей Фёдорович Мерзляков. Его встретили с большим почётом. Мерзляков написал много разных стихотворений, сочинял слова для хоров, которые исполнялись по торжественным случаям, переводил стихи древних поэтов; многие образованные москвичи собирались в университетской аудитории, чтобы послушать его лекции о поэзии. Но лучше всего людям были знакомы песни Мерзлякова. Кажется, не было русского человека, который не знал бы и не любил грустную песню «Среди долины ровныя»:

Среди долины ровныя,
На гладкой высоте,
Цветёт, растёт высокий дуб
В могучей красоте...

Пел эту песню и крестьянин на пашне, и ремесленник в мастерской, и солдат в казарме, и ямщик на почтовой дороге.

Ни сосенки кудрявья,
Ни ивки близ него...

Песня была не только про человека, оторванного от близких людей, но про самое горькое одиночество того, кто по воле судьбы оказался вдали от родной земли, от Родины. От этого песня делалась ещё печальнее и ещё любимее. И самое замечательное: едва ли не все, кто пел «Среди долины ровныя», не знали имени сочинителя. Люди считали, что это — народная песня. Народ признал её своей. И такая безвестность — самая большая слава для поэта.

Алексей Фёдорович Мерзляков был похож на крестьянина: крепкого сложения, с простыми, крупными чертами лица, будто наскоро вырубленного топором; волосы подстрижены по-мужицки — в кружок. Когда Александр увидел Мерзлякова, он даже не поверил, что это знаменитый поэт: такой он был простой и неказистый на вид.

Мерзляков сидел в кресле в первом ряду. Рядом с ним, по правую руку, устроился пожилой господин с красивым, живым лицом и модно завитыми локонами. Мерзляков сидел тяжело, неподвижно, точно врос в кресло; его маленькие серые глаза были устремлены на отвечавшего ученика. Господин подле него, наоборот, без конца вертелся, прикладывал к глазам лорнет — два стёклышка на длинной позолоченной палочке, здоровался со знакомыми, шептал что-то на ухо то Мерзлякову, то другим соседям, поправлял на груди кружева. Александру казалось, что настоящий поэт должен быть таким — красивым, непоседливым, с живостью в лице и лёгкостью в движениях.

Учитель вызвал Полежаева и предложил прочитать несколько собственных стихотворений. Александр подошёл к открытому зелёным сукном столу. Читая, он обратился было к красивому господину, но тот отвернулся в сторону, заулыбался кому-то и тут же занялся разглядыванием своих ногтей, тщательно подстриженных и подпиленных; Мерзляков слушал с интересом и даже одобрительно кивал головой. Александр позабыл про вертялого господина и все стихи прочитал одному Мерзлякову.

После экзамена Мерзляков нашёл в зале Александра, похвалил его стихи, некоторые строчки велел исправить и посоветовал, не тратя даром времени, поступать в университет. Откуда ни возьмись, появился рядом красивый господин, ловко взбил у себя на груди кружева, приложил к глазам лорнет, оглядел Александра, наговорил ему любезностей, пригласил к себе на чай, представился — Пушкин Василий Львович.

Александр читал стихи и шуточные басни Василия Львовича, поэму его «Опасный сосед» знал наизусть. Поэма была про похождения драчуна и забияки Буянова. Похождения оказались не совсем приличные, печатать поэму не позволялось, читатели переписывали её от руки и передавали один другому.

Но в последнее время чаще ходили по рукам не разрешённые для печати стихи племянника Василия Львовича, молодого поэта Александра Пушкина. Многие повторяли, как клятву, его строки:

Пока свободю горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

По Москве разошёлся слух, будто царь хотел сослать молодого поэта в Сибирь и лишь заступничество влиятельных друзей спасло его — вместо Сибири Пушкин отправлен в ссылку на юг. Полежаеву было интересно узнать про судьбу Пушкина, но

спрашивать о таком не полагалось. Поэтому он спросил Василия Львовича, скоро ли будет напечатана целиком поэма «Руслан и Людмила», отрывки из которой появились в журналах и всех восхитили. Василий Львович огорчился, что главный Пушкин в русской литературе не он, а илемянник Александр, но уже стал привыкать к этому. Да и жаль было Александра: как раз в эти дни он тащился по пыльному тракту куда-то в далёкие бессарабские степи. И Василий Львович живо отвечал Полежаеву, что книжка непременно скоро выйдет и что сам Жуковский — в восторге от поэмы — подарил Александру свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побеждённого учителя». Разгорячившись, Василий Львович пообещал и Александру Полежаеву замечательное будущее...

В октябре 1820 года Александр Полежаев, шестнадцати лет от роду, был зачислен на словесное отделение Московского университета.

АРАКЧЕЕВЩИНА

Осенью 1820 года в петербургском журнале «Невский зритель» появилось стихотворение — «К временщику». Временщиками называли царских любимцев, имевших из-за близости к царю — монарху — огромную власть. Стихотворение начиналось такими строчками:

Надменный временщик, и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неустовый тиран родной страны своей,
Взнесённый в важный сан пронырствами злодей!
Ты на меня взирать с презрением дерзашь
И в грозном взоре мне свой ярый гнев являешь!
Твоим вниманием не дорожу, подлец...

Под заглавием стояло разъяснение, что это — подражание обличительному стихотворению, сатире древнего римского поэта Персия. Но разъяснение было сделано для маскировки: иначе

стихотворение не удалось бы напечатать. У Персия похожей сатиры нет. Читатели сразу же поняли, кого обличил — гневно осудил и высмеял — поэт: все узнали страшного русского временщика, любимца императора Александра Первого — графа Аракчеева.

Именно так — «подлый», «коварный», «тиран» — называли Аракчеева многие граждане России. Называли про себя или шёпотом в узком кругу друзей: всякого, кто посмел бы вслух недобро отозваться о всеильном временщике, ждали цепи, крепость, каторга.

Имя отважного поэта, бросившего вызов «неистовому тирану», было Кондратий Рылеев. Все замерли, ожидая суровой расправы. Но если бы Аракчеев расправился с поэтом, он подтвердил бы этим, что стихи написаны про него. И он предпочёл не узнать в стихотворении свой портрет, сделал вид, будто стихи не имеют к нему никакого отношения.

Всю свою власть Аракчеев употреблял на то, чтобы помогать царю держать народ в рабстве. Он беспощадно подавлял малейшее неудовольствие крестьян, вводил жестокие порядки в армии, он хотел, чтобы вся жизнь людей, служебная и домашняя, строилась по придуманным им строгим правилам. И народ называл произвол временщика, его безжалостное правление — «аракчеевщина».

Царь поставил Аракчеева начальником над военными поселениями. Военные поселения были двойное рабство — крестьянское и солдатское. В таких поселениях — деревнях — все жители объявлялись солдатами, жили по военному распорядку, круглый год занимались строевой подготовкой — шагали, маршировали, учились ружейным приёмам, несли караульную службу, а к этому исполняли сельскую работу — пахали, сеяли, убирали, ходили за скотом. Домá в военных поселениях были одинаково построены и одинаково обставлены. Занавеска, цветок на окне, домашняя утварь, каждый вбитый гвоздь — всё было одинаково. Начальство строго следило, чтобы поселенцы жили

только по команде: по команде ложились спать, по команде вставали, шли на работу или на учения. Женились поселенцы тоже по приказу. Детей у них отбирали и отправляли на военную службу в специальные части. Бунты в военных поселениях власти жестоко усмиряли. Царь говорил, что военные поселения будут существовать, даже если придётся уложить телами убитых бунтовщиков дорогу от места восстания до Петербурга. А графу Аракчееву вся будущая Россия представлялась одним огромным военным поселением...

Властям хотелось держать в рабстве и умы российских граждан, хотелось, чтобы люди думали только о том, о чём прикажет начальство, и только так, как оно прикажет. Знатные господа не стеснялись утверждать, что науки приносят людям вред, рожают опасные мысли, что книги распространяют зло.

Особенно сердили царя университеты. Приближённые докладывали ему, что некоторые профессора не восхваляют в лекциях царскую власть и веру в бога, что студенты свободно рассуждают о политике, высказывают недовольство правительством.

Царские чиновники старались приказами повернуть назад науку. Астрономам запрещали упоминать в лекциях, что Земля вертится вокруг Солнца, потому что, по учению церкви, как раз наоборот — Солнце вертится вокруг Земли. Медикам запрещали изучать анатомию на трупах: анатомические препараты отпевали в церкви и хоронили на кладбище. Историкам запрещали говорить, что в стране может быть какая-нибудь власть лучше царской: ведь царская власть установлена самим богом. Некоторых профессоров прогоняли со службы, даже отдавали под суд. Кое-кто предлагал вовсе закрыть университеты.

Но мысль человека, если он сам не захочет этого, не подчиняется ничьим приказам. Можно заставить человека маршировать под барабан, можно заковать его в цепи, но нельзя запретить ему думать. Были и при аракеевщине профессора, не изменившие своей науке, своему делу. Были студенты, которые

читали серьёзные книги, серьёзно размышляли обо всём, что делается в мире. Эти люди считали, что нельзя позволить страху калечить мысль человека, превращать её в покорную рабу начальства. Человек только тогда проживёт на земле с пользой, совершит великие открытия, создаст великие творения, когда мысль его свободна. И как ни старались власти искоренить свободу мысли, им это не удавалось. Немало людей, желавших думать свободно, оставалось и в Московском университете.

«СВОБОДА В МЫСЛЯХ И ПОСТУПКАХ»

Самовар считался «инструментом трактирным» и был в университете запрещён. Чай заваривали в небольших медных чайниках. По вечерам студенты собирались в комнатах у самых бедных своих товарищей, которые жили на казённый счёт при университете. В каждой комнате простой стол да четыре кровати, накрытых одинаковыми серыми солдатскими одеялами. Рассаживались прямо на кроватях; на застланном бумагой столе раскладывали провизию. Угощение небогатое, зато разнообразное — каждый тасил что мог: кто буханку ржаного хлеба, кто ситник, кто колбасы кусок, кто пару серебристых селёдок, а кто и яблочные пирожки из соседней кондитерской.

Раскуривали трубки, синий дым облаками тянулся над столом. Тускло желтела свеча на донышке перевернутого гранёного стакана.

Засиживались допоздна. Что ни вечер — долгие беседы, споры. Об услышанной лекции, о новой книжке журнала, о последнем спектакле.

От университета до Большого театра рукой подать — из окон видно, как перед спектаклем привозят в театр артистов в огромных каретах; случалось, прибегал из театра служитель с даровыми билетами на самый верх, на раёк, раздавал билеты студентам, просил: «Только хлопайте, господа, побольше!»

Ближе к полуночи начинались разговоры о самовластии царя, произволе чиновников, жестокости помещиков, о рабстве народа. Извлекались из карманов тетради с запрещёнными стихами.

Свеча догорала до основания, лишь жёлтая лепёшечка воска, посреди которой, вздрагивая, то вспыхивал, то едва не затухал фитилёк, расплывалась на донце стакана. Медные чайники давно были пустые. Урядник Карп Федулович, следивший за порядком в студенческих комнатах, являлся с фонарём и приказывал немедленно расходиться...

Полежаев любил студенческие сборища. В кругу товарищей — откровенных, шумных, горячих спорщиков — никто не мог притаиться, скрыть своё мнение, показать себя не тем, кем он был на самом деле. Здесь каждого заставляли говорить открыто и честно; трусливым, изворотливым сюда ходу не было.

Полежаев писал в стихах, что ему по душе

Судить решительно и смело
Умом своим о всех вещах...

Он писал, что «свобода в мыслях и поступках» для него всего дороже. Полежаев не знал, как освободить свой народ от цепей рабства, но сам во всём желал быть свободным, не подчиняться никому.

Среди товарищей-студентов Полежаев слыл человеком всёсёлого, даже буйного права. По Москве ходили о нём рассказы. Александра называли заправилой шумных пирушек, виновником дерзких происшествий, зачинщиком уличных побоищ. Начальство с утра до вечера твердило, что надо быть послушным, кланяться за три версты богатому и знатному, дожидаться милостей в сенях у вельмож. А Полежаев писал, что нет для него ничего желанней вольности.

Он сочинял поэму о московском студенте, которого звали так же, как его самого, — Александром Полежаевым:

Рождённый пылким от природы,
Недолго был он средь оков:
Искал он буйственной свободы —
И стал свободен...

Поэма называлась — «Сашка».

Полежаев принялся за неё вскоре после того, как вышла из печати первая глава «Евгения Онегина». Все жадно читали новое творение Пушкина. А Полежаев не просто читал — он по-своему откликнулся на пушкинский роман в стихах.

Полежаев не подражал Пушкину. Наоборот. Он хотел показать, что рядом с такими героями, как пушкинский Евгений Онегин, живут и такие, как его Сашка. Он противопоставил Сашку — Онегину.

Пушкин рассказал про детство своего героя. Полежаев тоже. Но Евгений Онегин вырос в Петербурге, под надзором французских гувернанток и гувернёров, а полежаевский Сашка — или Сашка Полежаев — увидел свет в «маленьком селишке» под Саранском и провёл детские годы среди лакеев и кучеров.

В первой главе романа Пушкин описал день Онегина. С утра он гуляет на бульваре, потом мчится обедать в дорогой ресторан, оттуда летит в театр, а к середине ночи появляется на балу. Полежаевский Сашка весь день среди студентов. Здесь о людях судят не по чину, а по уму: и «князишка» немного стоит, если «в нём ума ни капли нет». Здесь «talанты в уваженьи», а не богатство — «не с червонцами дурак».

Театры, маскарады, балы, где проводят вечера и ночи знатные дамы и господа, Сашке не по душе. Зато его легко найти среди гуляк в шумном трактире, он буйно веселится, не желает знать никаких приличий, и, если где-нибудь завяжется «бой ужасный» между студентами и полицией, Сашка непременно будет в самой гуще сражения.

Но Полежаев не только прославил «буйственные дела» своего героя — он объяснил, откуда в нём это буйство, задор,

удаль. Сашка всей душой рвётся к свободе, а всё вокруг заковано в цепи — люди должны жить, думать и поступать, как рабы. Сашка — человек горячий, прямой, искренний, а чины, богатство, почести достаются тем, кто ловко скрывает свои чувства, лжёт, лицемерит.

Вот Сашка, чтобы раздобыть денег на учение в университете, отправился в Петербург, к богатому дядюшке. Он угождал знатному родственнику, вёл себя так, как принято в «высшем обществе»:

И потакал, и лицемерил,
И льстил бессовестно, и врал!

Он часами слушал неинтересные дядюшкины речи, хвалил шляпки и платья его супруги, дремал в театре, поддакивал важным господам, хотя не был согласен с ними, ходил по церквям, хотя не верил в бога.

Неужели, спрашивал поэт, такая ложь лучше обычной Сашкиной вольности? Всякий раз, когда мы лжём, чтобы выгадать какую-нибудь пользу, угождаем богатому, низко кланяемся знатному, не становятся ли крепче цепи, которыми опутана наша жизнь? И может быть, прав Сашка, желая назло господским приличиям «вверх дном» поставить Москву?

Нам всё равно: хвалы не ищем,
Пусть как угодно говорят!..

Поэма Полежаева, конечно, не была напечатана. Но сотни жадных студенческих рук переписали её в свои тетрадки. И мало кто из тогдашней молодёжи не прочитал её или хотя бы не слышал о ней. Имена героя поэмы — Сашки Полежаева и её автора — поэта Александра Полежаева сделались всем известны.

«БЛИЗ ФОНТАНКИ-РЕКИ»

В тайных обществах спорили о будущем устройстве России, о том, как лучше и быстрее произвести перемены в жизни страны. В песне, которую любили петь участники тайных обществ, были такие слова:

Ах, лучше смерть, чем жить рабами.—
Вот клятва каждого из нас!

Деятели тайных обществ часто бывали в Москве. Они проводили здесь отпуск, гостили у родни, у друзей. Одни проезжали Москву, следуя из Петербурга на Украину, чтобы познакомиться товарищей на юге со своими планами; другие с той же целью ехали с юга на север — и тоже через Москву. Во многих домах, встречаясь с друзьями и знакомыми, участники тайных обществ беседовали о том, что их волновало. Они условились беспощадно порицать в разговорах рабство и палки, Аракчеева, военные поселения, жестокость правителей, лень вельмож. Их слова и суждения быстро расходились среди москвичей.

Горячие и смелые юноши, студенты университета, тоже постоянно говорили о положении дел в России, о необходимости перемен. Они собирались в комнатах для занятий, аудиториях, читали книги по истории, географии, философии, сравнивали жизнь древних народов и других государств с российской жизнью, знакомились с тем, что думали великие учёные о справедливости, равенстве, свободе. И конечно, жарко обсуждали события, которые происходили вокруг.

А вокруг было беспокойно. В разных странах Европы народы поднимались против собственных владык и против чужеземных поработителей. В России то там, то здесь разгорались крестьянские волнения. Очень поразили всех беспорядки в самой столице Российской империи — Санкт-Петербурге.

...Семёновский полк был один из старейших в гвардии. Его основал Пётр Первый. Семёновцы прославили себя во многих

сражениях. Пётр Первый приказал им носить красные чулки в память о том, что они стояли по колено в крови, сдерживая натиск врага. Солдаты полка показали умение и отвагу и во время Отечественной войны 1812 года. Они гордились многими боевыми наградами и выше всех наград ценили шрамы от вражеских пуль, штыков и сабель.

Лучшие офицеры полка входили в тайные общества. Они решили не бить солдат. «Мыслимо ли бить героев, отважно и единократно защищавших Отечество», — говорили они. Семёновский полк был единственный в русской армии, где не держали розог и палок.

Власти были этим недовольны. Брат царя, великий князь Михаил Павлович, возмущался, что семёновские офицеры «своих солдат не бьют». Аракчеев добился назначения командиром полка известного своей жестокостью полковника Шварца и приказал ему «выбить дурь» из семёновцев. В полку, где прежде служил Шварц, осталась после него братская могила засечённых до смерти солдат.

Новый командир сразу же завёл долгие, мучительные учения. Это не были учения, нужные солдатам, чтобы лучше овладеть военным делом, — те, про которые Суворов говорил: «Тяжело в учении, легко в бою». Шварц заставлял солдат часами маршировать по плацу медленным шагом, вытягивая носок, или также часами стоять неподвижно по стойке «мирно». Он заставлял солдат после целого дня парадов, смотров и караулов всю ночь чистить одежду, подгонять каждый ремешок, каждую пуговицу, каждую петлю. Всякого, кто не сумел угодить ему, ждало наказание, а угодить было трудно — иногда солдата били только за то, что невесело смотрел.

В октябре 1820 года первая рота Семёновского полка самовольно собралась, потребовала к себе начальство и заявила жалобу на Шварца. Ни важные генералы, ни сам великий князь Михаил Павлович не смогли заставить солдат раскаяться, взять жалобу назад и выдать зачинщиков. Под охраной надёж-

ных войск роту отвели в Петропавловскую крепость. Тогда остальные роты, всего одиннадцать, прослышав, что первая «за правду погибает», тоже вышли из казарм. Полковник Шварц со страху спрятался в навозную кучу. Семёновцы потребовали, чтобы арестованные товарищи были освобождены. Иначе, говорили они, пусть сажают в крепость весь полк. Власти отказались исполнить их требование. «Где голова, там и ноги», — говорили солдаты и по своей воле отправились вслед за первой ротой в крепость. Толпы народа двигались по Петербургу вдоль реки Фонтанки, где располагался полк, провожая семёновцев. «Куда вы?» — кричали солдатам из толпы. «В крепость. Под арест», — спокойно отвечали солдаты.

Поэт Рылеев, который стал одним из основателей и главных деятелей тайного общества, рассказывал: «В городе волнение и тревога не переставали. Полки ходили беспрестанно; пушки везли, снаряды готовили, адъютанты скакали, народ толпился, в домах было недоумение, не знали, что придумать и предпринять, опасаясь бунта».

Бунта на этот раз не случилось. Прежний Семёновский полк был распущен, главные виновники беспорядка наказаны, остальные солдаты переведены по другим частям, а на их место набраны новые.

Правительство было очень напугано. Дело нешуточное: целый гвардейский полк отказался повиниться начальству.

Участники тайных обществ ясно увидели, какая огромная сила — армия. Они стали распространять среди солдат стихи и песни, напоминали про «семёновскую историю», призывали, когда настанет срок, действовать решительно. Сочинял песни поэт Рылеев вместе со своим другом — писателем и офицером Александром Бестужевым.

Песни разлетались по всей стране, попали они, конечно, и в Москву.

Студент Александр Полежаев знал и любил эти песни. Они звали разорвать цепи, освободить народ.

Близ Фонтанки-реки
Собирались поляки.
Слава!
Их и учат, их и мучат
Ни свет ни заря.
Слава!
Что ни свет ни заря,
Для потехи царя.
Слава!
Разве нет у них рук,
Чтоб избавиться мук?
Слава!
Разве нет у них штыков
На князьков-дураков?
Слава!
Разве нет у них свища
На тирана-подлеца?
Слава!..

Полежаев охотно читал рылеевские песни своим товарищам-студентам, те запоминали их и несли дальше.

ДЕКАБРИСТЫ

Туманным морозным утром 16 декабря 1825 года в открытых санях примчался из Петербурга в Москву царский гонец и передал главному московскому начальнику, генерал-губернатору, секретное письмо от нового царя Николая Первого: «Мы здесь только что потушили пожар, примите все нужные меры, чтобы у вас не случилось чего-нибудь подобного».

Говоря про пожар, Николай Первый имел в виду восстание, которое стало называться восстанием декабристов.

Незадолго перед этим умер прежний царь Александр. Детей у него не было, и власть должна была перейти к следующему по возрасту брату — Константину. Но тот не захотел стать царём, и наследником сделался третий брат — Николай

Знало об этом только царское семейство. Чиновники и армия уже принимали присягу — клялись в верности — императору Константину, в лавках продавали его портреты, чеканили монеты с его изображением.

И вдруг появилось распоряжение присягать заново — на этот раз Николаю. Многие не понимали, что происходит, началось смятение. Рылеев и другие руководители тайного общества решили, что нельзя упускать такой случай — пора выступать. Они задумали вывести войска на площадь, отказаться от присяги и свергнуть царя.

На рассвете 14 декабря восставшие войска построились над Невой, на площади у памятника Петру Первому. Царские генералы и священники уговаривали солдат разойтись, но солдаты их не слушались. Тут же стеной стоял народ, готовый поддержать армию. Когда отряд верных царю кавалеристов бросился в атаку, солдаты встретили его ружейным огнём, а народ — камнями и поленьями. Но сами восставшие не перешли в наступление и упустили успех.

Над декабрьским Петербургом сгустились ранние сумерки. Полки, стоявшие против мятежников, расступились в обе стороны, и между ними выехала вперёд батарея артиллерии. Порывистый ветер пронёс над головами клочья команды. Воздух заалел на мгновение. Залп встряхнул площадь. Первые ядра картечи ударились о землю, поднимая столбы снежной пыли. А над пушками снова вспыхнула и погасла красная зарница. Грохот выстрелов слился в сплошной гул. Толпа метнулась к Неве. Шорох тысяч торопливых шагов, тяжёлое дыхание, стоны и причитания раненых были страшнее орудийного грома. Бомбардиры меняли наводку, пушки били по набережным, по синему в сумерках, затоптанному снегу реки, по Васильевскому острову на другой её стороне. А через час, когда всё было кончено, костры, разожжённые на площади, прилегающих улицах и вдоль набережной, озарили ночное небо... Кровь на мостовых посыпала чистым снегом, с площади спешно убирала тела

убитых, чёрные кареты везли по улицам арестованных декабристов.

...В Москве «пожар» не разгорелся. Но меры приняты были строгие. Арестовывали всех, кого подозревали в принадлежности к тайным обществам. Люди, ложась спать, готовили тёплые вещи на случай неожиданного путешествия в Петербург, в крепость. Говорить стали осторожно, тихо, лучше всего было помалкивать. Люди перестали верить друг другу, старались не высказывать сочувствия пострадавшим. Будто холодные, мрачные сумерки нависли над всеми.

ДОНОС

В июне 1826 года Александр Полежаев окончил университет. Все экзамены он сдал на «отлично».

Полежаев был уже известный поэт. Его стихи охотно печатали журналы. Профессор Мерзляков расхваливал в лекциях своего талантливую ученика.

Стихи Полежаева были грустными. Обычно он рассказывал про человека, который вспоминает свою давнюю любовь.

Исчезли, исчезли весёлые дни,
Как быстрые воды умчались;
Увы! Но в душе охладелой они
С приговорною думой остались...

Александр писал о несчастных влюблённых — и не знал, какие несчастья ждут его самого в недалёком будущем.

...На рассвете 13 июля в Петропавловской крепости были повешены пятеро декабристов — вожди восстания, остальных мятежников отправили на каторгу, сослали в Сибирь, на Кавказ.

А через двенадцать дней после казни император Николай Первый торжественно въехал в Москву для коронации: русских

царей венчали на царство в Успенском соборе Московского Кремля.

Горели золотом церковные купола. Колокольный звон плыл над городом. Воздух вздрагивал от залпов орудийного салюта. Стаи птиц метались по небу. Николай Первый ехал верхом рядом с золотой каретой, в которой сидела императрица. Ряды войск, выстроенные вдоль улиц, толпы народа приветствовали его. Но на душе у многих людей были ужас и уныние.

Лицо нового царя было неподвижно и холодно, неподвижный взгляд светлых глаз устремлён поверх людских голов. Он думал о том, как истребить в своих подданных непокорность, желание бороться, самостоятельно думать и поступать. Он хотел выкорчевать эти чувства, как корчуют, выворачивают деревья — чтобы ни один, самый тонкий корешок не остался в земле.

Проезжая мимо университета, царь покосился на него с неприязнью. Среди декабристов было немало здешних воспитанников.

А ещё два дня спустя на письменный стол к царю легла секретная бумага под названием «О Московском университете». В ней говорилось, что студенты желают вольности и не признают над собой никакой власти. Для примера были приведены самые бунтарские строчки поэмы Александра Полежаева «Сашка». О том, что человек должен быть свободным в мыслях и делах. Что каждый имеет право смело судить обо всём на свете. О тяжёлых цепях, опутавших Отчизну.

Поэт звал угнетённый народ:

Когда ты свергнешь с себя бремя
Своих презренных палачей?..

И эти строчки тоже были приведены в бумаге.

Донос на университет и на Полежаева сочинил отставной полковник Иван Петрович Бибииков. Он долго служил в армии, потом несколько лет жил помещиком в своём богатом имении. После восстания декабристов он захотел помочь новому царю

искоренить всех непокорных, всех мятежников. Он решил вернуться на службу и рассчитывал получить хорошее место.

Царь прочитал донос и приказал немедленно доставить к нему Полежаева.

ПОЭТ И ЦАРЬ

Полежаева разбудили среди ночи, посадили в карету и повезли. Ночь была летняя — короткая, светлая. Небо за Москворечкой пожелтело, по нему тянулись клочьями лиловые разорванные тучи. Красная площадь была пустынна. Над ней звонко разносился цокот лошадиных копыт. Памятник Минину и Пожарскому темнел на фоне белокаменных Торговых рядов. Рядом с Полежаевым в карете сидел офицер; высокую треугольную шляпу с пучком петушиных перьев он держал на коленях — потолок кареты был для неё низок. Офицер всю дорогу молчал и, отвернувшись, смотрел в окно. Это был, наверно, дурной признак. Карета свернула в Спасские ворота Кремля. Полежаев ободрился: хорошо хоть не в тюрьму.

Кремлёвский дворец был ярко освещён. В люстрах и настенных подсвечниках горело множество свечей. Их огонь отражался в зеркалах и высоких окнах. За окнами уже синел рассвет. В залах дворца небольшими группами стояли придворные, о чём-то деловито беседуя. Генералы в золотых эполетах и с лентами через плечо отдавали торопливые распоряжения подчинённым. Туда-сюда пробегали дежурные офицеры. Из белых дверей появлялись торопливые чиновники с портфелем для бумаг под мышкой. Казалось, началась война или поступило известие о новом восстании.

Полежаева отвели в кабинет царя. Николай Первый поднялся из-за стола и посмотрел ему в глаза своими холодными глазами. Люди обычно не выдерживали его долгого, неподвижного взгляда. Боясь царского гнева, они кланялись и просили

прощения, даже не зная, в чём виноваты. Николаю это нравилось. Он хвастался, что его взгляд останавливает у подданных кровь в жилах. Но Полежаев не испугался: он внимательно смотрел на царя большими чёрными глазами.

Тут же, в кабинете, был министр просвещения, крупный, тучный старик с длинными седыми космами. Лицо у него было бледно. Оттого что Полежаев выдержал царский взгляд, министру стало совсем страшно. Он поклонился и бессильно развёл руками, хотя царь к нему не обращался. А старик был не робкого десятка: в прежние годы, раньше чем сделался министром, он служил на флоте, командовал большим военным кораблём — фрегатом, ходил в дальние походы, участвовал в морских сражениях.

Царь протянул Полежаеву тетрадь.

— Ты сочинил эти стихи?

В тетради был переписан «Сашка». Полежаев никогда не видел свою поэму так красиво переписанной и на такой славной бумаге.

— Я, — ответил он.

— Читай вслух, — приказал царь.

Полежаев читал:

Когда ты свергнешь с себя бремя
Своих презренных палачей?..

Министр закрыл глаза от ужаса.

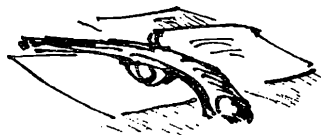
Царь слушал поэму, а в памяти вставал долгий рассвет 14 декабря, грозные молчаливые полки на площади. Стихи были продолжением того дня, следами, остатками декабрьского бунта. И эти бунтарские стихи, и тот бунт были от непозволительной вольности мыслей.

— Это всё ещё следы, — мрачно проговорил царь, когда Полежаев кончил читать. — Последние остатки. Я их искореню.

Он решил не арестовывать Полежаева, не отправлять его на

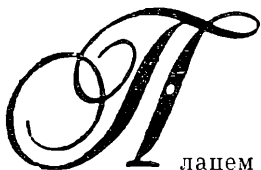
каторгу или в крепость,— ещё, чего доброго, возмнит себя героем. Он приказал немедленно сдать поэта в военную службу и держать под самым строгим надзором. Пусть помарширует стихотворец на плацу, постоит, не шелохнувшись, на часах, поползает по грязи. Глядишь, забудет, как стишки кропать,— научится и думать, и поступать, и говорить по команде.

За окнами уже совершенно рассвело, но на царском столе в высоких подсвечниках горели свечи.



«Я СНОВА УЗНИК И СОЛДАТ»

Александр Полежаев



ПЛАЦ

Плацем называют площадь для строевых занятий и парадов. Земля на плацу утоптана солдатскими ногами — твёрдая, как камень.

— Ать, два, три! Ать, два, три! — командует фельдфебель. Полежаев шагает по плацу.

Через плечо у него туго скатанная шинель, за спиной ранец, пабитый для тяжести песком.

Ранцевые ремни крест-накрест затянуты на груди. Дышать трудно.

Ремни — белые: всякое утро Полежаев встаёт, не дожидаясь сигнала трубы, моет их мылом, лощит до блеска.

— Ать, два, три! Ать, два, три! — сиплым, простуженным голосом кричит фельдфебель.

Высокий, жёсткий воротник мундира сдавил шею. Мундир узок, панталоны тоже, — двигаться тяжело.

На голове высоченная, с ведро, шапка — кивер; чешуйчатый ремешок кивера туго затянут на подбородке.

На плече у Полежаева ружьё — длинное, с пригнанным штыком. Полежаев не в силах дольше удерживать его — рука дрожит, пальцы разжимаются.

«Сейчас выпущу,— думает,— уроню, брошу — и будь что будет!»

Но пальцы сами крепче впиваются в приклад. Только штык, выдавая усталость солдата, туда-сюда покачивается над головой, а должен торчать недвижно, будто вбитый в небо гвоздь.

— Учебным шаго-о-ом! — разносится команда над плацем.— В три приёма! Марш!

— Ать!

Нужно вытянуть левую ногу, выпрямить носок и слегка оторвать его от земли.

— Два!

Теперь нужно высоко поднять ногу с вытянутым носком — и замереть.

Фельдфебель, придерживая на боку широкую, короткую саблю — тесак, подбежал, присмотрелся:

— Играй носком! Не тяни без толку! С чувством, с чувством выпрямляй!

«Вот сейчас упаду, и пусть, и хорошо,— стоя на одной ноге, думает Полежаев.— И не встану больше».

Но непослушный носок сам выпрямился как положено и «с чувством» слегка развернулся в сторону.

Фельдфебель снова отошёл на середину плаца:

— Три!

Теперь бы, не покачнувшись, опустить ногу на землю — на всю ступню, да так, чтобы от каблука левой ноги до каблука правой был ровно аршин — не больше, не меньше.

А над площадью уже снова громкое, сиплое:

— Ать!

Плац кажется бесконечным. Наверно, мореплаватели, заблудившиеся в волнах, так мечтают о земле, как мечтал Полежаев, медленно двигаясь проклятым, в три приёма шагом, добраться до дальнего края площади, туда, где маячит бело-чёрная полосатая караульная будка и полосатый шлагбаум.

— Стой!

Фельдфебель подбегает к шагавшему справа от Полежаева солдату, командует:

— Облокотись!

— За что? — причитает солдат. — За что?

А сам уже поставил перед собой ружьё и согнулся, двумя руками держась за ствол. Тотчас подскочили два ефрейтора, приподняли ранец у него на спине, загнули фалды мундира. Фельдфебель снимает тесак, прямо с ножнами, и с размаху бьёт солдата, громко отсчитывая удары: «Ать, два, три...»

«Если меня так — умру, — думает Полежаев, — его убью и себя, вот штыком».

Но стоит, не шелохнувшись, как положено, — каблуки вместе, носки врозь, колени прямые, грудь вперёд, руки вдоль туловища, локти слегка согнуты, так, чтобы между ними и телом проходила как раз ладонь, подбородок чуть приподнят, взгляд направлен прямо перед собой в землю на пятнадцать шагов.

— Братцы! Братцы! — вскрикивает солдат.

— Весело шагай! — Фельдфебель пристёгивает тесак, кричит, отходя: — Шаго-о-ом!..

ПЕРЕКУР

Солдат Иван Меньшов служил двадцать пятый год — и служил исправно. Рассчитывал Иван: скоро отпустят его домой. Что там, дома, Иван не знал. Грамоте обучен не был: как ушёл служить, сам домой не писал и писем из дому не получал. Встретил однажды земляка, тот говорил, будто отец Ивана помер, а мать жива. Но это давно было, лет двадцать назад. Была когда-то у Ивана и жена; что с ней, опять же неизвестно: четверть века — срок немалый. Детей у него не было.

Хозяйство у Ивана в деревне бедное, оброк, назначенный барином, он не мог отдать ни деньгами, ни патурой, — оттого бариин и сдал его в солдаты. И всё-таки домой Ивану хотелось.

Одно время он уже и скучать совсем перестал, и сны видел солдатские — учения, походы, бои, но последний год, заметил, снова, как в начале службы, стала сниться ему деревня. То он сено косит, да так, что рубаха взмокла, и во сне слышит запах согретой солнцем скошенной травы. То молотит — и чувствует, как липнет полова к потному лицу. То зимой в лесу стягивает вязанками и грузит на сани ломкий хворост.

Как объявят перекур, Полежаев искал Ивана Меньшова. Садилась на лавку в дальнем углу плаца, расстёгивали ремни на подбородке, доставали из глубоких киверов короткие трубочки-носогрейки да суконные кисеты.

— Ты, Саша, не печалься, — говорил Иван. — Судьба, она полосатая, как вон будка или, к примеру, шлагбаум. Сегодня чёрная, а завтра, глядишь, белая, глаз радуется. Главное, не горячись. Как сдали меня в солдаты, я тоже убивался. Ну думал, не дождусь больше светлого дня. А хорошее, оно везде человека найдёт. И в солдатчине.

Иван смотрит ласково, и глаза у него спокойные, серые.

Ростом Иван высок, в плечах широк, годы его не согнули. Полежаев знал, что прежде служил Иван в гвардии, отличился в боях, имел крест за храбрость.

Рассказывали старые солдаты: дело было военное, стоял Иван на часах, а рядом под навесом сидел на складном походном стуле сам фельдмаршал Кутузов. На коленях карта, в правой руке подзорная труба. Вокруг него генералы. Посмотрит Кутузов в трубу и пальцем на карте показывает, кому наступать, кому отходить, кому на месте стоять до последнего. Приметил француз Кутузова и пустил по нему бомбу. Упала бомба возле самого навеса, горит ярко-ярко, крутится на земле, искрами брызжет. Покосясь Кутузов на бомбу — и сидит, пальцем по карте водит. Генералы вокруг стоят, тоже никто не отходит, будто и не случилось ничего. Тогда Иван Меньшов перебросил ружьё за спину, шагнул к бомбе, взял её на руки и швырнул в пустой окоп. Там она и шарахнула — земля да осколки вверх

полетели. Встал было Иван на место — новая бомба. Кутузов опять покосился. Генералы стоят. Иван другой раз шагнул к бомбе — и эту в окоп. Только бросил — третья. А Ивану уже вроде и в привычку. Тогда Кутузов поднялся со складного стула и говорит: «Ну, видать, пристрелялся француз,— пора менять позицию. А тебе, братец, спасибо за службу». Снял у одного генерала с груди крест — сам-то он в простом сюртуке был, без эполет и без орденов — и приколот Ивану на грудь. А генералу сказал: «Я тебе крест после отдам. Тебя-то я увижу, а солдата, может, и не увижу!»...

— Ты, Саша, не горячись,— говорил Иван, попыхивая трубочкой и отгоняя ладонью дым от лица.— Плохое примечай, а хорошее ищи. С хорошим жить легче.

«И ЗАМИРАЕТ СТАЛЬ ОТМЩЕНЬЯ»

Каждый вечер появлялись на плацу горнисты и барабанщики, играли вечерний сигнал — били зóрю.

Фельдфебель командовал «отбой», солдаты складывали, как положено, одежду и амуницию, торопливо забирались на нары. Фельдфебель гасил в казарме свечи, только одну оставлял — у двери, где, изо всех сил стараясь не задремать, стоял дневальный со штыком на поясе. Вокруг стихало, слышалось лишь тяжёлое дыхание и стон, да за окном время от времени чётко звякало ружьё — часовой брал на караул.

Зари последний луч угас
В природе усыплённой;
Протяжно бьёт полночный час
На башне отдалённой.
Уснули радость и печаль
И все заботы света;
Для всех таинственная даль
Завесой тьмы одета.
Всё спит...

Стихи не удушишь тесным мундиром, не придавишь пудровым ранцем, не удержишь караульными будками и шлагбаумами. Полежаев страдал, думал, надеялся, отчаивался — и всякое его чувство ложилось в слова, в строки, в стихи.

Он складывал стихи о вечерней заре. Не о солдатской зóре, а о той тихой поре заката, когда лёгкий дождь, пролившись над полем, оживляет увядшие за день цветы и травы. Но ничто не оживит погубленного поэта:

Я увял — и увял
Навсегда, навсегда!

Отчего ж «не расцвёл — и отцвёл» юноша-поэт? Почему «дух уныл, в сердце кровь от тоски замерла»? Что убивает в душе поэта и мечту, и надежду?

Навсегда решена
С самовластьем борьба,
И родная страна
Палачу отдана...

Вот откуда и тоска, и уныние, и вечная боль, точно в грудь ему ударили острым трёхгранным штыком.

Он сочинил стихотворение — «Цепи». Про оковы, надетые на поэта царём. Про горячее сердце поэта, зовущее его разорвать цепи, отомстить поработителям. И про грозную силу, которую юному поэту не одолеть:

Стремлюсь, в жару ожесточенья,
Мои оковы раздробить
И жажду сладостного мщенья
Живую кровью утолить!
Уже рукой ожесточённой
Берусь за пагубную сталь,
Уже рассудок мой смущённый
Забыл и горе и печаль!..
Готов!.. Но цепь поработенья
Гремит на скованных ногах,
И замирает сталь отмщенья
В холодных, трепетных руках!..

Светало. Дневальный у двери, поплевав на пальцы, гасил огарок свечи. Из-за окон слышался неторопливый стук копыт по мостовой, унылый скрип колёс: водовозы везли в бочках воду с реки. Пахло свежим хлебом: на рассвете доставляли из пекарни дневную пайку — три фунта на брата.

Первыми поднимались музыканты. Одевались, негромко пербраниваясь, и в раннем сумраке синими тенями тянулись мимо окон к двери.

Пора было вставать, чистить и подгонять амуницию, чтобы к утренней зоре каждый ремешок был в исправности.

Трубачи и барабанщики сигналили на плацу зорю. Полежаев напяливал тяжёлый, тесный кивер, что было сил затягивал на груди ранцевые ремни, хватал ружьё и выбегал строиться.

КРИВОНОГИЙ

Фельдфебеля Василия Михеева никто за глаза иначе не называл, как «Кривоногий». Лицо у Кривоногого красное, точно огнём опалило, круглые щёки заросли густыми рыжими бакенбардами, под толстым носом — рыжие усищи.

Кривоногий целый день бегал на своих коротких, кривых ногах по плацу и по казарме, выискивал малейшее упущение, за всякую мелочь наказывал без жалости: кому — зуботычину, кого — тесаком, а кому — мелом на спине крест поставит, чтобы после наказать посильнее.

Ивана Меньшова Кривоногий особенно не любил. Иван служил прежде в Семёновском полку, а семёновцы, известное дело, всё одно что мятежники. Против начальства бунтовали. В крепости сидели. Неспроста их царь по разным полкам разогнал. Кривоногий придирался к Ивану, а придраться не к чему: Иван — солдат исправный. Кривоногий и так его поддавливал, и этак, а Иван всё прав.

Рассказывал Иван молодым солдатам про войну. Как Кутузов

к армии приехал. Вот едет он верхом вдоль строя, в белой фуражке с красным околышем, солдаты кричат «Ура!», явился, говорят, Кутузов бить французов, а над головой у Кутузова поднялся орёл, так и летел всё время за ним следом, — тут все поняли, что с Кутузовым победим.

Ещё рассказывал Иван, как после Бородинского боя прошли, не останавливаясь, опустевшую Москву и после, холодной ночью, видели с Калужской дороги зарево московского пожара.

Появился Кривоногий, покрутил усы:

— Что ж ты, Меньшов, хвалишься, как Москву сдал? Ты похвались, как Париж брал.

— Да тут, Василий Михеич, ведь что получилось. Подходим мы к Парижу. Весна, солнышко припекает, война кончается. Париж — вот он уже. Слышим, сзади команда: «Направо, налево раздайся!» Вроде едет кто из большого начальства. Мы, как положено, раздаёмся на обе стороны, уступаем дорогу. И видим: начальства никакого нет, а бежит по дороге козёл Васька — жил у нас при артиллерийской роте. Мы: «Куда, куда!» А он с перепугу ещё быстрее бежит. Вот так и вышло, Василий Михеич: обогнал меня козёл Васька, раньше в город Париж вступил.

Солдаты засмеялись, фельдфебель топнул ногой, крикнул и пропал — как не было.

Иван посмотрел ему вслед:

— Зря Василий Михеич расстроился. Враг, он боек, да наш солдат стоек: не горевали бы мы осенью под Москвой, не веселились бы по весне в Париже.

ПОХОД

В мае полк двинулся из Москвы в летние лагеря. Идти было двести вёрст. На дорогу выдали солдатам пару новых портянок и чёрные сухари. Шли походным порядком по размытым

весенними дождями дорогам. Делали короткие привалы возле встречных рек и речушек; паводок был бурный, берега густо зеленели свежей травой. Солдаты черпали котелками речную воду, размачивали в ней сухари. Вода была студёная и сладкая; солдаты пили её охотно, говорили, что весенняя вода приносит здоровье и силу. После привала новый переход начинали бодро, но грязь на дорогах лежала глубокая — до половины сапога. Через час-другой пути бодрость пропадала, шагали понуро, молчаливые, только ружья брякали да привязанные к ранцу котелки. Командир выкликал песельников вперёд. «По улице мостовой, — заводили песельники, — шла девица за водой», — и, странное дело, ранец за плечами словно делался легче, и ружьё переставало с тупым упорством колотить по бедру, и ремни будто растягивались на груди — дышалось свободнее и ноги ловчее выбирались из густой грязи. «За ней парень молодой»... И, утирая пот со лба, солдат вдруг замечал, что на блёклом небе, между серыми, напитанными влагой облаками, просвечивает солнце, что деревья вдоль обочины сверху донизу оделись мелким сверкающим листом.

На ночлег останавливались в деревнях. Спали в крестьянских избах. Стелили на полу шинель, подбросив под неё для мягкости соломки. В притихшей на ночь избе пахло овчиной, тестом, замешенным с вечера, человеческим теплом. Сладко храпели на лавке умаявшиеся за день хозяева. Детишки, взбудораженные приходом солдат, шушукались на полатах. Старый дед на печи протяжно зевал и шептал молитву. За стеной возилась и глухо вздыхала корова.

Александр лежал не двигаясь, одну полу шинели подстелил под себя, другой укрылся, рукава сложил под голову. Не спалось. Изба пахла детством. От знакомых ночных шорохов щемило сердце. Далёкие картины вставали в памяти, и то, что прежде казалось невыносимо тягостным, теперь представлялось радостным, как ясное, солнечное утро.

Первой встала хозяйка. Мягко ступая босыми ногами, по-

дошла к квашне, приподняла полотенце — подошло ли тесто; потом взяла подойник — и скрылась за дверью. Следом встал Полежаев. Бережно обернул портянками стёртые ноги, сунул в сапоги. Встряхнул шинель, скатал, перехватил ремешком. Проверил ранец — всё ли на месте. Потёр рукавом ремни — в походе амуницию до блеска не чистили. На подоконнике заметил несколько коровьих бабок, взял одну покрупнее, достал из сумки свинцовую пулю, нашёл молоток, забил пулю в косточку.

Появилась хозяйка — в подойнике пузырилось парное молоко. Налила полную кружку, подала Полежаеву. Он выпил — и протянул ей бабку-свинчатку: ребятишкам на память от прохорожего солдата.

ЛАГЕРЬ

Выбрали чистое поле, поставили палатки.

Вокруг нет ничего, а солдаты что муравьи: один тащит полешко, другой досочку, третий ящик, четвёртый разбитый бочонок, пятый пару гвоздей. И вот уже в каждой палатке — какая-нибудь лежанка, и полка, и даже кособокий стол.

Полежаев устроился вместе с Иваном Меньшовым. Иван, орудуя лопаткой, ловко вбил в землю несколько колышков, протянул между ними добытые в обозе обрывки ремней и верёвок — вышло вроде сетки.

— Ну, брат, постеля у нас будет мягкая, как у самого государя...

За парусиновым пологом палатки распекал кого-то, отшивая гулкие удары, Кривоногий.

— Вот помню, давно это было, ещё в начале службы, был у нас фельдфебель, — громко, в полный голос принялся рассказывать Иван. — И служил у нас солдат — Петрович. Невзлюбил его фельдфебель. То ему в ухо, то розог, то тесаком, то шомпол. Как маршировать — шесть часов подряд гонял по плацу.

Вот попали мы в первый бой. Неприятель из пушек лупит — головы не поднять. И надо же: так ядро угодило, что одним разом Петровичу ногу оторвало, а фельдфебелю челюсть перешибло. Лежат, кричат. Вдруг Петрович и говорит: «Видишь, господин фельдфебель, царь-то нас с тобой пожаловал, а враг разжаловал: тебе теперь не командовать, а мне не маршировать!»

...Лагерная жизнь не похожа на гарнизонную. Зорю били в половине четвёртого. Наскоро завтракали сухарями — и на учения. Быстрым броском, по двадцать вёрст без привала, следовали в заданное место, переходили вброд реки, в широком поле с громким «ура!» бежали в атаку цепью, учились колоть штыком и быстро готовить ружья к стрельбе.

Ружья были кремнёвые, заряжались спереди, с дула. Стрелок, держа в руке ружьё, доставал из сумки бумажный патрон с порохом, зубами разрывал — «скусывал» — его, сыпал немного пороха на корытце возле курка — полку, а остальную часть закладывал в дуло. Потом вставлял в дуло пулю и ударами шомпола прижимал её к пороху. Когда солдат давил на курок, кремь бил по огниву, высекал искру, искра поджигала порох, насыпанный на полке, огонь бежал по нему к стволу, воспламенял главный заряд, который и выбрасывал пулю.

К десяти утра учения заканчивались. В лагере горели костры, кашевары суетились у закопчённых котлов.

После обеда — отдых, а вечером — новые учения: парадный марш. Тут наука доставалась тяжелей, чем в походе или в атаке. Нужно было, чтобы тысячи солдат вытягивали, поднимали и опускали ногу, взмахивали рукой, как один человек. Тысячи ружей должны были взлететь вверх, опуститься и даже сверкнуть, как одно ружьё.

В ненастную погоду учения отменяли. Солдаты ждали дождя. Хорошо было проснуться ночью от частого стука по тугой парусине палатки. Иван слезал с постели, осторожно, чтобы не задеть парусины — потому что где дотронешься до неё, там

сперва каплями, а скоро и сплошной стружкой будет протекать вода, — добирался до входа, поднимал полог и тихонько запервал:

Начинается наше счастье —
Поднимается несчастье...

— Не то обидно, Саша, что страдаем, а то обидно, что без причины, — говорил Иван. — На войне хуже страдали: и голод, и холод, и смерть стережёт, — а не обидно. Мы под Смоленском не дрались — наш полк в стороне стоял, — так обижались солдаты: мы что, дескать, хуже других, что нас в бой не берут. Под Бородином белые рубахи надели, от чарки отказывались: не такой нынче день, чтобы винсом себя горячить. Французскую кавалерию три раза в штыки встречали — не дрогнули. Сколько товарищей там полегло, сколько увечных осталось: жалко, а не обидно. Всего обидней — ни за что терпеть.

ИВАН

Ивану Меньшову приснился сон. Пришёл он домой, в свою деревню, отворил дверь в избу, видит — матушка его, живая, сидит на лавке, прядёт, жена с ухватом у печки возится, тут же овца — жмётся к печи. Жена увидела его и говорит: «Вот ведь радость, матушка, — Ваня со службы вернулся». Затешила свечу, поставила к образам. Потом достала из сундука белую рубаху, протягивает ему: «Надевай, Ваня, — праздник».

Иван проснулся — сердце колотится: до чего ж хорошо — и матушка живая, и жена, и дома чисто, и овца есть. В войну говорили, будто свеча да белая рубаха во сне — к смерти; но Иван отогнал прочь дурные мысли — небось не война. Может, скоро домой отпустят?..

В тот же день после обеда приказал фельдфебель строиться. Сам стал перед строем, покрутил усы.

— Положено, — сказал, — вам, ребята, жалование — по тридцать копеек на душу. Но как служили вы плохо, на учении и в маршировке успехов не оказали, будет вам по гривеннику.

Солдаты молчали, переминались с ноги на ногу.

Фельдфебель взял сумку, пошёл вдоль строя, клал каждому в ладонь монетку.

Поравнялся с Иваном:

— Получай, Меньшов.

Иван руку не протянул. Стоит перед ним Кривоногий, в пальцах гривенник держит.

Иван сказал:

— Нехорошо, Михеич. Солдатское дело такое: кровь поровну и копейка поровну.

Кривоногий покраснел сильнее всегдашнего, только искры не посыпались.

— Ты как посмел!

— А что мне сметь? Своё прошу, не ворованное.

Фельдфебель ногами затопал:

— Ах, такой-растакой, это что ж, по-твоему, выходит, что господа начальство — воры?

Иван сказал:

— Я про начальство не знаю, а что ты, господин фельдфебель, из наших копеек рубли сколотил да к себе в сумку положил, это я и под присягой отвечу.

Фельдфебель замахнулся кулаком, но Иван крепко схватил его за руку:

— Меня Наполеон не побил, неужто тебе, господин фельдфебель, позволю?

Кривоногий выдернул руку:

— Ну, Меньшов, попался ты мне.

Подхватил на боку тесак, побежал прочь, заорал:

— Бунт!

Иван сказал:

— Пропала, ребята, моя голова. Погорячился малость.

Полк построили четырёхугольником. Вызвали на середину две шеренги солдат, поставили лицом друг к другу. В каждой шеренге по двести пятьдесят человек. У каждого солдата в руке длинная, гибкая палка с палец толщиной — шпичрутен. На левом фланге расположились барабанщики. Показался назначенный командовать наказанием офицер; день был ветреный — офицер придерживал рукой треугольную шляпу. Офицер приказал пробовать, и солдаты принялись махать палками в воздухе, будто приноровляясь, как покрепче ударить. Подъехал полковник верхом на белой лошади, ноги и брюхо у лошади были забрызганы грязью. Полковник сказал солдатам: если кто пожалеет, слабо будет бить, тот пеняй на себя.

Вывели Ивана Меньшова.

Офицер в треуголке достал из кармана бумагу, развернул и прочитал, что за дерзкий бунт против начальства рядовой Меньшов Иван будет проведён сквозь строй из пятисот человек четыре раза; всего назначено Меньшову две тысячи ударов.

Два ефрейтора обнажили Ивана до пояса, привязали ему руки крест-накрест к прикладу ружья, подвели к шеренгам.

Офицер вынул шпагу из ножен. Солдаты взмахнули палками. Барабанщики застыли, подняв палочки над барабанной шкурой. В этот миг порыв ветра сорвал с зазевавшегося офицера шляпу. Он бросился её ловить. Полковник смотрел на него с неудовольствием.

Иван поднял глаза, увидел серое небо над краем поля, встревоженные ветром верхушки деревьев.

Офицер поймал шляпу. Он поостерёлся опять надевать её на голову и сунул под мышку, хотя это было, наверно, против правил. Полковник сердито приказал начинать, не мешкая. Офицер вытянулся, сделал знак шпагой, словно собирался

управлять оркестром. Барабанщики ударили дробь. Два ефрейтора, держа ружьё за концы, повели Ивана между шеренгами. Палки быстро опускались одна за другой. Полежаев закрыл глаза. «Пошёл наш Иван по зелёной улице», — грустно сказал кто-то рядом...

На спине у Ивана живого места не было, но он упрямо шагал под ударами, словно какая-то сила помогала ему переставлять ноги. Он упал, когда прошёл по «зелёной улице» трижды.

Подозвали доктора. Тот заглянул Ивану под веки, дал ему понюхать из флакона — и разрешил продолжать. Старые солдаты зашептались, что оно и хорошо, — хуже нет, если отнесут в лазарет, подлечат, а потом будут доканчивать наказание — лучше уж подряд.

Четвёртый раз ефрейторы тащили Ивана между шеренгами за привязанные к прикладу руки. Барабанщики били дробь так часто, что палочки были почти неразличимы в воздухе. Иван Меньшов принял ровно две тысячи ударов и на последнем умер, точно в последний раз не палкой его ударили, а острой саблей, доставшей до самого сердца.

Обратно шли молча, скорым походным шагом. Кривоногий спешил вприпрыжку сбоку колонны, крутил усы, покрикивал: «Весело шагай!»

ПОБЕГ

Чуть свет трубач затрубил: стройся!

Полежаев привычно схватился одной рукой за ранец, другой за ружьё — и вдруг остановился как вкопанный.

«Я ли это? — подумал он. — Совсем недавно свобода была мне всего дороже, а теперь? Стоит захрипеть медной трубе, стоит барабанщику застучать своими палками — и я, как заведённая машинка, начинаю покорно поднимать и опускать ноги, вскидывать ружьё, крутиться на месте. Пусть лучше меня повесят, как тех пятерых в Петропавловской крепости, пусть голо-

ву мне отрубят на плахе, забьют палками, — пусть смерть, чем жалкая жизнь раба».

«Не горячись!» — послышался ему голос Ивана, но он отмахнулся от воспоминания, как отгоняют от лица ладонью табачный дым.

За стенкой палатки стихал дружный топот удалявшихся колонн, возгласы команд доносились уже издали.

Полежаев отставил ружьё, бросил на землю ранец и неторопливо зашагал прочь от лагеря.

Он и сам не знал куда. На Кавказ, в Сибирь, на край света — какая разница!.. Солнышко поднялось на небе, начало припекать. В придорожной канаве желтели одуванчики. Александр сорвал цветок, заложил себе за ухо. Сорвал травинку, пожевал. Вот и почтовый тракт. Верстовые столбы покрашены чёрными и белыми полосами, как караульные будки. Александр подумал: в полку уже хватились, наверно, — ищут. Ну, да теперь всё равно!

Догнал на дороге мужика, он вёл за собой телёнка.

— Здорово, дядя. Куда путь держишь?

— А вот в город иду, на базар, твой солдатский ранец продавать.

— Откуда ранец? Ведь у тебя телок.

— А загадку знаешь: был телком, стал клещом, впился в спину, а без него сгину — что такое? То-то: солдатский ранец. Он, поди, из телячьей-то шкуры. А сам в отпуск или совсем?

— Похоже, совсем.

Пошли вместе.

Город оказался — Торжок.

Александр на окраине завернул в трактир, спросил чаю и хлеба. Ему подали чай в пожелтевшем фарфоровом чайнике с розой на боку, на маленьком блюдце десяток мелко наколотых кусочков сахара, тёплый белый ситник, посыпанный мукой. Взяли три копейки. Всего у Александра был гривенник. Он налил в гранёный стакан жидкого чаю, жадно отхлебнул — за-

думался. Без денег, без документов ни до Кавказа не дойдёшь, ни до Сибири; до края света — тем более. Изловят как беглеца и бродягу на первом же перекрёстке. Он вспомнил: «Погорячился малость. Пропала моя голова». Вспомнил барабанную дробь, нескончаемый свист шпицрутенов. Ему стало страшно. Надо было опередить преследование. Он решил: если бежать, то в Петербург. Тут недалеко. Царь может казнить, а может и помиловать. А в полку один конец. Отодвинул стакан, блюдо с сахаром, непечатый ситник, быстро пошёл из залы. Однако от дверей вернулся, взял ситник, сунул в карман.

Возле трактира нашёл тройку. Ямщик — парень молодой, зовут Спиридон. В Петербург Спиридон ехать опасался; предложил — в Вышний Волочок, тем более есть попутчица, вдвоём ехать и веселей, и дешевле. Ну, в Волочок так в Волочок — лишь бы на месте не сидеть.

Попутчица, Анна Дорофеевна, торжокская мещанка, оказалась женщина дородная, обстоятельная. В ногах держала большую корзинку с припасами, в ней — и ножка баранья, и курица, и сваренные вкрутую яички, и калачики с маком, и сахарные крендельки с корицей. Наевшись, Анна Дорофеевна любила петь, голос имела сильный, песен знала множество, особенно по душе были ей протяжные. Полежаев, примостившись бочком на сиденье, почти целиком занятом попутчицей, грыз крендельки да подтягивал; опять стало ему казаться, что как-нибудь само уладится.

На второй день приехали в Вышний Волочок. Александр попросил Спиридона погодить с деньгами, пообещал принести к вечеру.

...Вышний Волочок назван так оттого, что в давние времена по тому месту, где стоит город, волокли, перетаскивали сушей грузы с одной реки на другую, дальше их опять отправляли водным путём. Пётр Первый приказал рыть здесь канал, ставить шлюзы. Канал помог связать Волгу с Невой, а на Неве возводилась новая российская столица — Петербург.

Полежаев долго стоял на берегу канала, смотрел, как в шлюзе поднимаются и опускаются, покачиваясь на тёмной воде, суда. Это были вместительные с низкими бортами барки, гружённые разными товарами. Строились барки на одну путину — в Петербурге их продавали на дрова.

Александр думал: какое это счастье — лежать на палубе, вольно раскинув руки, подставить лицо солнцу, смотреть, как покачивается высокое небо, как тянутся навстречу лёгкие облака, а ночью плывут, мерцающая, синие звёзды, слушать, как всплескивает река за бортом...

Дни были длинные; в июне на Севере темнеет поздно.

Наконец в окнах домов зажглись огни.

Александр устал. Голова у него пылала. Его одежда была в пыли.

Перед каким-то домом он присел на низкий каменный столб коновязи.

Он думал, что ехать к царю и глупо, и гадко. Выдержать тогда, в Москве, его леденящий взгляд, чтобы через год упасть перед ним на колени.

У кого он собирался искать милосердия?

Он вспомнил, как вздрагивали огоньки свечей в ледяных глазах царя.

Он вспомнил пятерых повешенных за 14 декабря, убитого палками Ивана Меньшова.

Вспомнил солдат, офицеров, барабанщиков, чиновников, вельмож — все вокруг были как заводные куклы.

Для свободы не оставалось уголка ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Вышнем Волочке, ни на краю света.

В голове мелькали строчки, недавно сочинённые:

И Русь, как кур, передушил
Ефрейтор-император.

Ехать было не к кому. Что к Кривоногому, что к государю — конец один.

Появился в дверях дома хозяин — тощий старик с жидкой бородёнкой в чёрном, ниже колен, сюртуке, — посверлил Александра маленькими, под седыми кустиками бровей, глазами, закричал:

— Поди прочь, солдат!

Александр послушно поднялся и побрёл прочь.

Отыскал Анну Дорофеевну, недавнюю попутчицу, объяснил: не в отпуске он и от службы не уволен, а самый что ни на есть беглый солдат, — пора в полк возвращаться на верную смерть. Попросил денег — может, взаймы, а может, и насовсем. Анна Дорофеевна и перепугалась, и расстроилась. То ли со страху, то ли от жалости протянула Александру двадцать рублей. Всклинула, достала из корзинки пригоршню крендельков, сунула ему в карман.

Александр отнёс деньги ямщику:

— Погоняй, Спиридон! А впрочем, не спешి. Семь бед — один ответ. Дай подышать вольным воздухом...

На шестой день после побега Александр возвратился в полк и явился по начальству.

Приказано было его обыскать. Кривоногий полез к нему в карман с таким видом, будто ожидал найти там бомбу. Вынул чёрствый ситник и несколько сахарных крендельков, положил на стол перед начальством.

...Полежаев сдан был в солдатскую службу по высочайшему повелению, и теперь его судьба, расследовав дело, ждали приговора царя.

Александр решил: живым в руки палачам не дастся, по «зелёной улице» не пойдёт. Попы говорят: бог запрещает человеку убивать себя. Странно: отчего же бог позволяет одному человеку убивать другого. Неужели бог не хочет, чтобы Александр Полежаев убил себя и не доставил радости палачам, но согласен, чтобы Александра Полежаева убили царь, полковник, офицер в треуголке, Кривоногий? Нет, решил Александр, с ними у меня свои счёты, а с богом свои.

Мне мир — пустыня, гроб — чертог!
Сойду в него без сожаленья,
И пусть за миг ожесточенья
Самоубийцу судит бог!..

...Царь приказал: оставить Александра Полежаева рядовым солдатом без выслуги. Без выслуги — значит: навсегда.

БРАТЬЯ КРИТСКИЕ

В августе 1827 года начальству сделалось известно, что в караульное помещение Московского Кремля явился студент университета, беседовал с солдатами и офицерами, напоминал им про декабристов, обещал, что в России скоро будет новая революция, и предлагал в ней участвовать. О важном происшествии тотчас дали знать в Петербург — царю.

Скоро выяснилось, что в Москве существует тайное общество, основанное тремя братьями Критскими — Петром, Михаилом и Василием. Братья были очень молоды. Старшему, Петру, исполнился двадцать один год, Михаилу — девятнадцать, Василию — семнадцать. Двое старших только что окончили университет, а младший учился в нём. Кроме братьев Критских, в обществе состояло ещё три человека. Все они через несколько дней были арестованы. Вместе с ними забрали тринадцать человек, которые знали о существовании общества и его планах.

Преступники оказались, по большей части, мелкими чиновниками и студентами. Эти юноши хотели продолжить дело, начатое декабристами. Их не испугали ни жестокое подавление восстания 14 декабря, ни казнь его вождей. Наоборот. Они говорили, что завидуют смерти Рылеева и мечтают умереть так же, как он. Они говорили, что гибель декабристов родила в них не страх, а негодование. Они называли декабристов «великими сынами России».

Члены тайного общества братьев Критских были убеждены, что тот, кто любит Родину и желает ей счастья, должен выступать против царя: уничтожение царской власти — первый шаг к свободе. Заговорщики изготовили печать, на которой написали: «Вольность и смерть тирану». Они решили распространять в народе записки с призывом к возмущению, бунту.

Первую такую записку они собирались прикрепить к подножию памятника Минину и Пожарскому. В ней они хотели напомнить народу о декабристах, назвать имена повешенных, рассказать, сколько лучших сынов России сослано в Сибирь.

На допросах выяснилось, что заговорщики распространяли революционные стихи, сочинённые декабристами. Один из арестованных сознался, что «дерзновеннейшее» стихотворение «Близ Фонтанки-реки» впервые услышал от бывшего студента Александра Полежаева.

Полежаева немедленно арестовали и потребовали от него ответа — не был ли он в тайном обществе, не сам ли написал бунтовские стихи, если же стихи чужие, то от кого их узнал, кому читал и с какой целью.

«И КАНДАЛЫ НА НИХ ГРЕМЯТ»

В Москве была подземная тюрьма.

Низкий потолок, до которого узник доставал головой. Под потолком забранное решёткой оконце, такое крохотное, что даже не разглядишь, какая на дворе погода. Тонкий луч света, проникавший в окно, почти не разгонял темноты подземелья. Три сырые каменные стены, четвёртая — деревянная, за ней тюремный коридор. Возле обитой железом двери — часовой с ружьём.

В подземной тюрьме держали тех солдат, которых власти

считали опасными преступниками. Заперли сюда и Александра Полежаева.

Когда прежде Полежаев писал в стихах про цепи, на него надетые, он хотел сказать этим, что принуждён выполнять чужую волю, что ему не дают свободно жить и действовать по собственной охоте. Теперь поэт узнал, что такое настоящие цепи — его заковали в кандалы.

Целый год — триста шестьдесят пять дней — был заточён Полежаев в подземную тюрьму. Он знал, что отсюда редко выходят живыми, и ни на что не надеялся.

Изредка его водили на допрос. Ему показывали стихи декабристов, требовали, чтобы он сообщил, кому и когда передавал их. Поэт понял, что братья Критские, с которыми он познакомился ещё студентом, и некоторые другие его университетские товарищи арестованы. Он боялся повредить им. Поэтому на вопросы он отвечал, что стихи декабристов попадали ему в руки, но от кого он получал их и передавал ли кому — не помнит.

Для себя Полежаев не ждал пощады. Поэма «Сашка», побег из полка и теперь — обвинение в принадлежности к тайному обществу... Он готовился к казни и хотел встретить её достойно.

Я умру! на позор палачам
Беззащитное тело отдам!
Но, как дуб вековой,
Неподвижный от стрел,
Я недвижим и смел
Встречу миг роковой!

В сыром подземелье, где от стен тянуло могильным холодом, поэт захворал чахоткой. Кусок хлеба и кружка воды два раза в день не оставляли надежды на исцеление. Полежаев знал: если его не повесят или не прогонят сквозь строй, он умрёт от болезни. Никто не услышит о его смерти, люди никогда не найдут его могилы.

И нет ни камня, ни креста,
Ни огородного шеста
Над гробом узника тюрьмы —
Жильца ничтожества и тьмы...

Но тяжёлые звенящие кандалы не делают человека узником, если душа его свободна. Поэт свободен, пока он пишет стихи и пока он в этих стихах не изменил себе.

Ещё до смерти согрешу
И лист бумаги испишу...
Прочти его и согласись,
Что если средства нет спастись
От угнетенья и ценей,
То жизнь страшнее ста смертей
И что свободный человек
Свободно кончить должен век...

В темноте подземной камеры почти невозможно было различить долгие дни и ночи. Полежаев называл свою тюрьму «плутоновым царством» по имени древнегреческого бога Плутона, владения которого находились глубоко под землёй. Поэт кутался в шинель: он называл её «сермяжной бронёй». Эта «броня» из грубого серого сукна, сермяги, защищала его от холода и пронизывающей сырости. Таясь от караульных, при малейшем шуме пряча бумагу и карандаш, Полежаев писал стихи. Он рассказывал людям про судьбу поэта и солдата: про судьбу «вербованного» — взятого в солдаты — поэта. Пусть жизнь его страшнее ста смертей — поэт не сдался, он такой же, как прежде, — не сломленный судьбой, свободный, смелый человек.

В тюрьме жертв на пять или шесть
Ряд малых нар у печки есть.
И десять удалых голов,
Царя решительных врагов,
На малых парах тех сидят,
И кандалы на них гремят...

...И против пар вдоль по стене
Доска, подобная скамье,
На двух столбах утверждена.
И на скамье той у окна,
Броней сермяжкою одет,
Лежит вербованный поэт.
Броня на нём, броня под ним,
И всё одна и та же с ним,
Как верный друг, всегда лежит,
И согревает, и хранит;
Кисет с негодным табаком
И полновесным пятаком
На необтёсанном столе
Лежат у узника в угле.
Здесь триста шестьдесят пять дней
В кругу плутоновых людей
Он смрадный воздух жизни пьёт
И самовластно кляпёт.

НАВСТРЕЧУ ПТИЦАМ

Полежаева не казнили. Доказать, что поэт принадлежал к тайному обществу братьев Критских и что именно он снабжал заговорщиков вольнолюбивыми стихами, не удалось. Но разве не было мучительной казнью само ожидание казни — триста шестьдесят пять дней в подземелье? Триста шестьдесят пять дней, каждый из которых Полежаев считал последним днём своей жизни:

Последний день
Сверкал мне в очи;
Последней ночи
Встречал я тень...

Братьев Критских и других главных участников заговора царь велел посадить в крепость и даже не указал срока заключения.

Полежаева перевели рядовым в другой полк. Этот полк отправлялся воевать на Кавказ.

Ранней весной 1829 года полк начал продвижение на юг. За семьдесят пять дней марша надо было пройти от Москвы до Ставрополя. Выходило примерно двадцать вёрст в день.

Растянулись длинной колонной: восемь взводов, в каждом взводе — сорок два ряда, в каждом ряду — четыре человека. Впереди — тридцать четыре музыканта — полковой оркестр.

Путь был нелёгкий: таял снег, разливались реки, с первым весенним теплом развезло дороги.

Впереди ждал Кавказ: горные тропы, бездонные пропасти, смертельная пуля, подстерегавшая на каждом шагу.

Царь часто посылал на Кавказ тех, кто был ему неугоден, от кого он желал избавиться. В кавказской армии служили многие декабристы. Вместо того чтобы сажать человека в тюрьму или отправлять на каторгу, можно было подождать, пока его застрелят или зарубят шашками в бою...

Но в лицо дул тёплый ветер, с каждой верстой всё меньше оставалось снежных островков в чёрных полях, стаи птиц с весёлым гомоном летели навстречу солдатам.



«КАКОЙ ЗЕМЛИ, КАКОЙ СТРАНЫ ГЕРОИ ПАДШИЕ ВОЙНЫ?..»

Александр Полежаев



В КРАЮ ГОРЦЕВ

первые три десятилетия прошлого века к России присоединились Грузия, Азербайджан и Армения. Царское правительство начало утверждать свою власть в горных районах Кавказа.

На Кавказе шла долгая война с горцами.

Русские отряды год за годом всё глубже продвигались в горные районы. Прокладывали дороги над каменистыми пропастями, над бурными, пенными реками. Прорубали просеки в непроходимых лесах, сплошь заросших цепким кустарником. Возводили укрепления.

Горцы в ответ совершали набеги на русские крепости, обстреливали из укрытий идущие по дорогам колонны, неожиданно нападали на стоянки отрядов.

Царские генералы жестоко расправлялись с непокорными. Горцев сгоняли с обжитых мест, сжигали селения — аулы, уничтожали поля и пастбища, угоняли их скот.

У горских народов были свои властители — князья и ханы. Чтобы привлечь их на свою сторону, царь делал послушных князей и ханов своими генералами, платил им хорошее жалованье, приказывал дарить им кинжалы, украшенные золотом,

серебром и драгоценными камнями, пистолеты, золотые часы, перстни, куски бархата и парчи. Послушные богачи забирали в свои руки больше полей, лугов, скота.

Тяжелее всех страдали от войн бедняки, простые крестьяне.

Они и в мирные годы жили очень плохо. В горах крестьянский труд гораздо тяжелее, чем на ровной местности. Земля там скудная, а участки под посевы маленькие. Часто горец с небольшим мешком пшеницы, привязанным к поясу, взбирался при помощи веревок и крючьев на отвесную скалу, чтобы отыскать на её вершине хоть крохотный кусочек годной земли.

Горцы рассказывали шутивную и вместе грустную историю про земледельца, который вспахал поле, прилёг отдохнуть, а потом никак не мог найти свою пашню: оказалось, её целиком накрыла брошенная на землю бурка.

Конечно, в дружбе с русским народом горцы могли сделать свою жизнь лучше. Но некоторые горские властители желали безраздельно править на принадлежащих им землях, старались навсегда оторвать Кавказ от России.

Часто им помогали в этом мусульманские священники — муллы. Предводителем горцев стал священник по имени Гази-Мухаммед. «Гази» значит в переводе «борец за веру». Русские называли его Кази-Мулла. В простой одежде, с длинным посохом в руке Гази-Мухаммед ходил по селениям, собирал народ и обращал к нему свои речи. Он учил мусульман ненавидеть всех, кто исповедует другую веру, звал их к «священной войне» с «неверными».

Царь решил раз и навсегда сломить сопротивление горцев и отправил на Кавказ большое войско. Туда были посланы части из глубины России. Полежаев со своим полком пришёл походом от самой Москвы...

«ОТРЯД ИДЁТ ГУСТОЙ КОЛОННОЙ»

На Кавказе от солдат не требовали ни безукоризненной выправки, ни начищенных до сияния пуговиц. Здесь не нужно было часами шагать по плацу, задира́ть ногу, старательно «играя» носком. Здесь не учили бесконечным ружейным приёмам, не заставляли по счёту вскидывать ружьё на плечо, ставить к ноге, делать на караул, да чтобы при этом штык непременно сверкнул в воздухе. И начальники здесь были добрее к солдатам, больше заботились о них и реже их наказывали.

Потому что здесь, на Кавказе, шла война.

А на войне смелый и выносливый солдат дорожке того, который умеет красиво выпячивать грудь и вытягивать носок. На войне хорош не тот солдат, который ловко отдаёт честь и смотрит в глаза начальству, а тот, который верит командиру, защитит его в бою и выполнит любой приказ. На войне надо не приёмы ружьём делать, а быстро и метко из него стрелять.

Солдаты на Кавказе отдыхали от муштры: ходили вперевалку, вместо фуражки или кивера часто надевали лохматую кавказскую папаху, на грудь шинели нашивали горские патронташи — газыри. Белые ремни тут не мыли и не чистили, а в походе и вовсе выворачивали наизнанку, тёмной нижней стороной наружу: скрещённые на груди, они были для противника слишком заметной мишенью. Да и сам ранец, тяжёлый и неудобный, солдаты редко брали в поход: обычно за плечами у них была простая холщовая сумка, а в ней шестидневный запас провизии и всё необходимое в пути.

Походы часто были долгими и далёкими. Царские войска неделями шли по следам воинов Кази-Муллы, захватывали новые местности, вырубали лес, чтобы противник не мог напасть врасплох, и на опустошённом пространстве строили укрепления.

Случалось, поход начинался неожиданно:

Снимать немедленно палатки!
Приказ исполнен в тишине;
Багаж уложен, цепи сняты;
В строю рассчитаны солдаты,
И всадник в бурке на коне...
Поход...

По кавказским дорогам, где из-за каждого поворота, каждого дерева, каждого камня всякое мгновение мог раздаться выстрел, войска шли в определённом порядке. Сначала двигался передовой отряд — авангард: батальон пехоты и две лёгких пушки-единорога. За авангардом на расстоянии ружейного выстрела следовала главная колонна — пехота, конные казаки, артиллерия. За ней обоз: повозки, гружённые продовольствием, боеприпасами, палатками, кашеварными котлами, походная кухня, лазаретная фура. И наконец для прикрытия с тыла замыкающий отряд — арьергард. Колонну окружали цепи стрелков; они двигались не по дороге, а по хребтам и склонам окрестных гор, высматривая неприятеля.

В лесу горцы устраивали засеки: срубали целиком деревья и — ветвистыми вершинами вперёд — оставляли на пути русских отрядов. На горных дорогах они делали завалы из камней. Когда по одну сторону узкой дороги поднимается отвесная стена, а по другую срывается вниз пропасть, человек с винтовкой, прятаясь за каменным завалом, может сдерживать большие силы.

Отряд идёт густой колонной;
Но на пути большой овраг,
Кругом завалы; злобный враг
Из-за утёсов, пеший, конный,
Стреляет в цепь и в казака;
Навстречу гул единорога,
Картечи, ядра в смельчака —
И слова чистая дорога...

Реки на Кавказе стремительные и сильные, особенно когда в горах, откуда они берут начало, тает снег или выпадают дожди.

Бурный поток сдвигает с места огромные камни, несёт вырванные с корнем деревья.

Он мчится с таким шумом, что, идя по берегу, иной раз не услышишь голос соседа.

Во время переправы конные казаки верхом в два ряда выстраивались через реку на месте брода, а между ними, высоко подняв над головой ружья и сумки, по грудь в ледяной воде переходила стремнину пехота. Но иногда сильное течение сбивало людей с ног, опрокидывало повозки, лошади были не в силах устоять на месте.

Один устал, другой слабеет...
Шатнулся, пал... и в целый рост!
На помощь — кони: тот за хвост,
Другой на гриве цепенеет...
Ныряют сабли и штыки;
Несутся пушки с лошадьми;
Летает гибель над главами —
Идут бестрепетно полки...

Полежаев переправлялся через быстрые, холодные реки, ходил в дальние походы, на плечах перетаскивал пушки по каменистым горным тропам, под огнём неприятеля разбирал засеки и завалы.

Когда небольшой отряд, в котором действовал Полежаев, был окружён в глубоком овраге, никто из солдат не думал, что останется живым. Горцы со всех сторон обстреливали их, шесть раз бросались в конную атаку, но русские воины стойко оборонялись до тех пор, пока не подоспела помощь. Командиры считали, что Полежаев был одним из лучших в сражении, и просили высшее начальство присвоить ему хотя бы самый маленький — чуть главнее солдата — чин унтер-офицера. И начальство на этот раз не могло отказать.

В перерывах между боями солдаты рубили лес на дрова, косили траву, чинили истрепанную одежду и обувь, квасили капусту, ловили рыбу и сушили её на зиму.

Полежаев улучал всякую свободную минуту и писал стихи.

Найдут в углу моей палатки
Мои несчастные тетрадки,
Ключки, четвёртки и листы,
Души тоскующей мечты...

«ДРУЗЬЯ, ПОВЕРЬТЕ, ЭТО БЫЛЬ!»

Кавказские стихи Полежаева не похожи на стихи других поэтов того времени.

Обычно поэты наперебой воспевали красоту кавказской природы: снежные шапки гор, неприступные скалы, бурливые водопады, бездонные пропасти. Но мало кто из поэтов сумел в ту пору близко и подробно познакомиться с Кавказом. Некоторые проехали по нему путешественниками, большинство же знало о нём понаслышке. Полежаев прошёл Кавказ в солдатских колоннах и увидел его глазами солдата.

Конечно, и перед его взором вставали картины величественной природы:

Кругом, от моря и до моря,
Хребты гранита и снегов...

И он смотрел как зачарованный на могучий Казбек, «который сед и стар, как бес»:

Из рёбр его окаменелых,
Мильоном воли оледенелых,
Шумят и летом и зимой
Ручьи с свирепою быстротой.

И его поражали вставшие

неприступными рядами,
Как время вечные, скалы.
Над ними вьются временами
Одни свирепые орлы.

Но солдаты, идущие походом, видят «дикие картины» совсем по-другому, чем столичные путешественники:

Их мочит дождь, их сушит пыль...
Идут — и живы, слава богу!
Друзья, поверьте, это были!
Я сам, что делать, понемногу
Узнал походную тревогу,
И кто что хочет говори,
А я, как демон безобразный,
В поту, усталый и в пыли,
Мочил нередко сухари
В воде болотистой и грязной
И, помолвившись потом,
На камне спал покойным сном!..

На Кавказе Полежаев написал две большие поэмы. Он назвал их «Эрпели» и «Чир-Юрт» — по имени горских селений, куда совершали походы русские войска в надежде захватить Кази-Муллу.

Поэт участвовал в этих походах и рассказывал о них как очевидец.

В то время петербургские художники изготовляли по заказу царя огромные картины. На картинах были серые горы, коричневые холмы, зелёные поля. На горных дорогах, на вершинах холмов, на просторах полей располагались войска. Художники тщательно изображали маленькие фигурки солдат, стройными рядами, как на параде, идущих в атаку, конницу на белых, рыжих и вороных лошадках, артиллеристов у пушек, над которыми застыли белые клубочки дыма.

Царь особенно следил за тем, чтобы всё на картинах — и построение войск, и одежда воинов, и каждое их движение — было по правилам и уставам. Такой — аккуратной, красивой, похожей на парад — желали видеть войну важные петербургские господа.

Полежаев наблюдал войну не на далёких полях и холмах.

Война была вокруг. Поэт-солдат рассказывал о жестокости сражений, о тяготах и радостях боевой жизни. Не маленькими игрушечными фигурками были для него товарищи по оружию, а живыми людьми. В поэмах Полежаева живут, думают, действуют, разговаривают стрелки, казаки, кашевары, походные торговки, слуга командующего — «генеральский человек» — Кузьма Савельич. И сам Полежаев в своих поэмах живёт, действует, думает, говорит — как солдат.

Он и про бой в горах рассказывает по-солдатски — как про тяжёлую работу, когда под пулями, в непогоду приходится упорно взбираться вверх, чтобы выбить неприятеля с вершины:

Вот пуля свищет, вот другая...
Идут... Вот залп из-за кремней
Раздался, сверху пролетая...
Идут, работают смелей...
Уж высоко! Туман нагорный
Густеет, скрывает средины гор;
Темнеет день, слабеет взор.
Идут отважно и упорно.
Внезапный холод, ветер, дождь
Приводят в трепет нестерпимый,—
Идут стеной неотразимой!..

И ночлег в поэме Полежаева — солдатский ночлег:

Ночлег на месте — нет сомненья...
В кострах чеченские дрова,
Вокруг забота и движенья
И песни звучные слова...
Иные спят, другие бродят,
В кружках толкуют вой о чём;
Пикет смелят, цепь разводят,
Смеются, вздорят о пустом...

И каждый переход в его стихах — трудный путь, измеренный солдатскими ногами:

Раздался снова шум походный —
И полк дружиной боевой
Идёт дорогою степной.
Всё те же хълмы, горы, реки,
Всё те же ветры, и жары,
Сырые, вредные пары
И кукурузные чуреки,
Всё те же змеи по полям,
Вода с землёю пополам,
Кизиль неспелый, розан дикий,
Черешня с луком и клубникой,
Чеснок, коренья всех родов
И сыр из козьих творогов...
Идут...

«Эрпели» и «Чир-Юрт» — солдатские поэмы. Таких поэм до Полежаева никто не писал.

НЕПОКОРНЫЙ АУЛ

Поздно вечером барабанщик возле белой палатки батальонного командира ударил тревогу, ротные барабанщики подхватили его сигнал. Кто спал — вскочил и быстро одевался, кто не спал — заливал костры, укладывал походные сумки, запрягал лошадей. Скоро батальон был готов выступать. Колёса артиллерийских орудий и обозных телег обмотали сеном и обвязали тряпьем, чтобы не гремели по каменистой дороге. Ни громко разговаривать, ни курить ночью на марше было нельзя.

Пошли сразу быстро, не в ногу, вольным шагом, командиры поторапливали солдат тихими окриками и свистками, напоминавшими голос ночной птицы. Солдаты хоть и не спрашивают, куда идут, но откуда-то всегда всё знают: шёпотом передавали друг другу, что, по донесению лазутчика, три дня назад в недалёком ауле скрывался Кази-Мулла со своими людьми, — теперь вышел приказ изловить Кази-Муллу.

Ночь была тихая. Луна светила. Острые листья чинар неподвижно чернели узором на серебристом небе.

Зелёные огоньки светляков двигались в тёмном воздухе, сверкали в придорожной траве и кустах.

Возле Полежаева шли, еле слышно переговариваясь, два солдата, Емельянов и Григорьев, оба из одной деревни. Перед боем разговор у них был всегда один и тот же: Емельянов просил, если его убьют, чтобы Григорьев продал оставшиеся после него вещи, а деньги послал матери и братьям; Григорьев просил, если его убьют, чтобы то же самое сделал Емельянов.

Рядом с колонной весело бежал большой чёрный пёс. Он пристал к батальону полгода назад и постоянно сопровождал солдат в походах. Пса так и звали — Приблуд.

Через час пути дорога круто взяла вверх, с каждой верстой делаясь круче и ўже.

Двигались медленнее, каждый шаг давался с трудом. Ночной воздух охлаждал вспотевший лоб, но спина и плечи под шинельной скаткой, сумкой и ружейным ремнём были горячи и мокры от пота.

Время от времени по тихому свистку командира приходилось бежать вперёд, что есть силы толкать плечом застрявшую на подъёме пушку, или наоборот — приотставать и вместе с обозными втягивать на крутизну тяжело нагруженную повозку.

По правую сторону дороги был обрыв, камни из-под колёс, срываясь, сыпались туда с долгим шумом.

Лохматый Приблуд, двигаясь сильными, упругими прыжками, то мчался в голову колонны, к артиллеристам, то возвращался назад, чёрной тенью пробегая мимо, глаза его горели в темноте зелёными светляками. Обозные лошади Приблуда не любили, при появлении его всхрапывали и мотали головой, а ездовый солдат, шёпотом ругаясь, норовил достать пса кнутом.

Стало светать. Небо побледнело, на нём неярким розовым кругом задержалась луна. Утренний ветерок легко зашумел в кустарнике. Слева от дороги стали различимы невысокие

уступы камней, узкие поляны между ними, серые в раннем утреннем свете, старое кривое дерево дикой груши посреди поляны; справа — неровный край оврага.

Впереди раздалось несколько выстрелов, по высокому протяжному звуку Полежаев угадал горские винтовки: русские ружья били глуше. Наверно, посты, охранявшие аул, заметили передовых дозорных.

Теперь медлить было нельзя; главное — ударить внезапно. Командир вынул шпагу из ножен, приказал: «За мной!» — солдаты, на бегу снимая ружья, бросились за ним в гору. Полежаеву казалось: ещё немного — и неостанет сил бежать, глотки холодного воздуха разрывали грудь, но не приносили облегчения. И когда стало совсем не в состоянии, подъём неожиданно кончился, как оборвался, над головой просторно раскинулось небо, а внизу, верстах в полтора, лепилось к отлогому склону селение. Сверху видны были плоские кровли домов, называемых саклями, квадратные внутренние дворы, узкие улочки. В воздухе послышался лёгкий запах дыма: кое-где в домах уже топили очаг.

На горе артиллеристы установили пушку. Заряжающий тащил на спине к орудию плоский ящик со снарядами. Пехота с ружьями наперевес устремилась вниз по склону.

— А ну, ребята, угостим бунтовщиков картечью! — закричал артиллерийский офицер.

Пушки поверх голов пехоты били по аулу. Полежаев увидел, как метко пущенное ядро угодило под самую кровлю дома, пробило глинобитную стену, часть стены осыпалась, вздымая светлую пыль. По улицам селения металась испуганная толпа.

Два горца в коричневых кафтанах — бешметах — и белых папахах бежали откуда-то сбоку наперерез солдатам. Один, целясь, припал на колено, другой бросился наземь, прилаживая винтовку, чтобы выстрелить точнее. Емельянов остановился, стараясь не замочить слюною пороха, быстро скусил бумажный

патрон, насыпал пороху на полку и поднял приклад к щеке. Горец, что лежал на земле, тоже не успел прицелиться — Григорьев на бегу достал его штыком.

Аул был уже совсем рядом. «Ура!» — пронеслось в цепях, и Приблуд, не чуя ног мчавшийся между солдатами, залился громким лаем.

Отряд ворвался в селение...

По словам пленных, Кази-Мулла три дня назад в самом деле ночевал одну ночь в ауле, но на другое утро снова исчез неизвестно куда.

Дело было кончено. Командир отряда дал приказ отходить.

На краю селения в притоптанной тяжёлыми сапогами золе — на том месте, где стояли сожжённые при набеге сараи, — Полежаев заметил: сверкнуло что-то. Нагнулся и поднял тонкое серебряное колечко — маленькое, с девичьей руки. Он надел кольцо на мизинец и вздохнул о печальной участи той, которой оно принадлежало.

КАВКАЗСКИЕ ПЛЕННИКИ

Русский солдат Луков пробыл в плену у горцев два с половиной года.

В плен его взяли, когда он был в секрете. Луков с товарищем лежали в кустах недалеко от своего лагеря. Место было спокойное — горцы туда не заглядывали. Ночь тихая — ни шума, ни выстрелов, только шакалы в овражке повывали — жалобно, как дети. Товарищ Лукова отложил ружьё, перевалился на бок и закурил трубочку. Стали они негромко беседовать, рассказывать друг другу разные истории, да так заговорились, что и не заметили, как подкрались горцы. А те, может, услышали в тишине голоса, может, огонёк разглядели в темноте. Горцев было четверо, действовали они ловко: прикладом винтовки по голове, тряпку в рот, чтобы не закричал, руки скрутили ремнём выше

костей и ещё для верности за локти привязали к поясу. Притащили пленников в овражек — там лошади были оставлены, — стали подсаживать на лошадей; Луков с товарищем — побитые, связанные, во рту тряпка, — делать нечего, полезли. Два горца посадили их верхом позади себя, а два других поехали сзади. К утру горцы привезли пленников в аул и продали богатому хозяину: взяли за каждого по двадцать баранов.

Первые полгода житьё у пленников было неплохое: работа знакомая, крестьянская, кормил хозяин хоть и не досыта, но хорошо, только на ночь запирали в сарай. Но скоро приехал в аул именитый гость: росту небольшого, худощавый, но в плечах широкий, лицом тёмный, на лбу и на щеках глубокие морщины, нос тонкий, горбатый, глаза навывкате, горят как уголья; с ним — сорок всадников в белых чалмах поверх папахи. Гость этот был сам Кази-Мулла, по-горски Гази-Мухаммед. Хозяин велел резать баранов и устроил ему богатое угощение. Но Гази-Мухаммед ел мало, а глядя на него, не смели есть и его верные спутники. После ужина Кази-Мулла пришёл в сарай, где сидели пленники, показывая на них пальцем, что-то долго говорил хозяину по-своему. На другое утро, когда гость уехал, хозяин сказал Лукову и его товарищу: «Гази-Мухаммед велел вам принять мусульманскую веру, а не захотите, велел вас убить». Товарищ Лукова заплакал и согласился, а Луков подумал-подумал и не стал принимать чужую веру.

Хозяин отпустил луковского товарища на волю; нашли ему жену, построили саклю, и зажил он горцем. Лукова хозяин убивать не стал: работник хороший, да, видать, пожалел баранов, что за него отдал; но обращаться с ним стал строже, есть давал кукурузную лепёшку, ночью сажал на цепь. Подсылал к нему прежнего товарища, чтобы уговаривал Лукова сделаться мусульманином, но Луков твердил своё: нет. «Я, — говорил, — брат, на тебя обиды не держу, у каждого своя судьба». Но вот снова явился в аул Кази-Мулла, заметил Лукова, рассердился. Топнул ногой на хозяина и закричал на него. Хозяин сложил

руки на груди, нагнул голову, потом сказал (Луков уже понимал по-ихнему и говорил немного): «Если через три дня не согласится, застрелю». Посадил Лукова на цепь в сарае, дверь запер, кормить вовсе перестал. А на третий день пришли русские и заняли аул.

Луков от голода был слабый, идти долго не мог. Емельянов и Григорьев посадили его на ружьё — он их за плечи обнял — и понесли. Емельянов сказал: «Мы тебя до того места донесём, где наш обоз стоит. Посадим в повозку — поедешь барином».

...Возвращались не торопясь. Солдаты устали после быстрого ночного марша, после набега на аул. На полпути устроили привал. Разложили костры, повесили над ними большие медные котлы, зарезали захваченных в селении баранов, стали варить мясо.

Емельянов штыком доставал из кипящего котла большие куски баранины и накладывал в котелки сидевшим вокруг костра солдатам. Особенно старательно угощали отбитого у горцев пленника Лукова, он ел жадно, облизывал пальцы. В сторонке, дожидаясь своей порции и шумно зевая от нетерпения, сидел Приблуд и внимательно смотрел на Емельянова.

Подвели к костру пленного горца в коричневом бешмете и белой папахе. Это был тот самый, которого во время атаки Григорьев ударил штыком. Он был ранен в плечо. Обхватив левую руку правой, он прижимал её к груди, как ребёнка. Приблуд при виде его оскалился и зарычал, но горец что-то проговорил по-своему — и пёс умолк.

— Ишь ты, понял, — удивился Емельянов. — Должно, прежде в ауле служил.

Григорьев протянул пленному свой котелок с мясом.

— Вот как! — улыбнулся Полежаев. — То было убил его, а то свой харч отдаёшь!

— В бою такое дело: либо я его, либо он меня, — отвечал Григорьев. — А здесь что он, что я — оба человеки.

Но пленник покачал головой и легонько оттолкнул ладонью котелок.

— А что,— сказал Лукову Полежаев,— глядишь, выменяют горца этого на твоего товарища? Вот и он к своим вернётся.

— Нет,— сказал Луков,— он не пойдёт. Жену свою сильно любит. И детишек. Двое уже у него — девочка и мальчик.

Горец сидел неподвижно, будто вырубленный из дерева, и не отрываясь смотрел на огонь.

«НО НЕТ ТОЙ СЧАСТЛИВОЙ СТРАНЫ»

Кавказские стихи Полежаева — не просто картины войны: в них живут чувства, владевшие душой поэта. Всё, что его волновало, тревожило, вызывало гнев и печаль,— всё ложилось в строки стихов.

Полежаев проклинал того, кто первый на земле поднял меч войны, повёл брата на брата, принёс людям горе и смерть. Война — это не просто походы и сражения, переправы через реки, ночи у костра, набег на аулы и внезапные нападения неприятеля. Война — всегда гибель многих людей. С глубокой печалью оглядывает поэт поле боя — «равнину бранную». Повсюду, куда достаёт взор, видит он тела убитых, в эти минуты поэт думает о том, что все, отдавшие жизнь в бою, не «свои» и «чужие», а прежде всего — люди, которые могли бы жить в мире.

О, кто, свирепую душою
Войну и гибель полюбя,
Равнина бранная, тебя
Обмыл кровавою росой?..
Какой земли, какой страны
Герои падшие войны?

Перед взором поэта открывается мирный горский аул:

Везде блуждающие взоры
Встречают сакли и заборы,
Плетни и вёлы; каждый дом —
Бойница с насыпью и рвом.
Над разорвавшейся рекою,
Бегущей с горной высоты,
Искусства чудною рукою
Везде устроены мосты...
В ауле шум и конский топот,
Молчанье жён и детский хохот;
На кровлях, в окнах, у ворот
Кипящий ветреный народ...

А следом — мёртвое селение:

Всё пусто в нём! Свирепый пламень
Пожрал жилище беглецов;
Обломки брёвен, чёрный камень
И пепел брошенных домов...

Солдатскую поэму «Чир-Юрт» Полежаев начал горькими строчками о бесконечных войнах, которые разделяют людей, губят нашу землю:

Есть много стран под небесами,
Но нет той счастливой страны,
Где б люди жили не врагами
Без права силы и войны!

Он закончил поэму вопросом: настанет ли счастливое время, когда поэты будут прославлять в стихах не кровавые битвы, а добрую мирную жизнь?

ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ

После нескольких военных неудач Гази-Мухаммед с самыми верными воинами укрылся в своём родном селении — Гимры. Аул Гимры стоит на берегу шумной, мутной реки, окружён-

ный отвесными скалами. Скалы так высоки, что снизу, со дна ущелья, кажется, будто они достают до самого неба. В ненастную погоду за их острые неровные вершины и гребни цепляются серые клочья облаков.

По узким тропам в скалах едва мог пройти один человек; дорожка, высеченная в камне, карабкалась на крутизну, резко обрывалась вниз, на головокружительной высоте висела над пропастью. Всадники здесь спешили, шли, держась за хвост лошади и доверяясь ей. Гази-Мухаммед считал, что русские войска не сумеют подобраться к Гимрам. Он говорил, что противник может упасть на аул только вместе с дождём.

И всё-таки русские войска двинулись на штурм Гимров.

На горном перевале их встретил глубокий снег; резкий ветер леденил лицо, нёс навстречу колючую пыль. Сразу за перевалом начался густой туман, дороги не видно, каждый шаг по обледенелой тропке мог оказаться роковым, но командиры поторапливали: туман скрывал от противника движение войск.

Шли по одному, гуськом; тот, что сзади, держался за плечо переднего. Полежаев слышал, как за его спиной Григорьев с Емельяновым завели привычный разговор: Григорьев просил, если не уцелеет, чтобы Емельянов продал его имущество, деньги же послал в деревню. Полежаев подумал, что всего имущества у Григорьева — казённое обмундирование, да ружьё, да в сумке казённые сухари, разве что трубка своя.

Лохматый Приблуд, осторожно ступая, шёл рядом, в самых страшных местах жался к ноге Полежаева, немного мешал идти, зато от него было теплее и спокойнее; Полежаев доставал из кармана сухарь, опускал вниз руку и чувствовал, как пёс, тепло дохнув, мягко брал сухарь из его пальцев.

Остановились ненадолго, чтобы спустить с вершин артиллерию. Пушки сняли с подставок-лафетов и передавали из рук в руки.

Книзу туман рассеивался и тянулся дымными струями, всё более редкими.

Горцы почуяли недоброе. Их караульные, засевшие у завалов, которыми перегорожены были горные тропы вокруг аула, подняли стрельбу.

Гази-Мухаммед со своими людьми собрался покинуть селение, но жители Гимров не хотели, чтобы он оставил аул на разорение.

К этому времени многие бедные горцы были недовольны Гази-Мухаммедом. Поднимаясь по его призыву на войну, они думали не только о том, как истребить или прогнать «неверных», но надеялись, что их собственная жизнь станет лучше. Шли годы, а в горах ничего не менялось: бедняки по-прежнему оставались бедняками, а богатые богатели. Гази-Мухаммед учил своих подданных соблюдать законы веры, а богачи по-прежнему обирали и угнетали бедняков, чинили им всякие несправедливости. Гази-Мухаммед говорил, что надо умереть в бою — тот, кто окажется в плену, никогда не попадёт в рай; но князья и ханы не думали про счастье на том свете. И, видя такое, бедняки горцы начали отходить от Гази-Мухаммеда.

Гази-Мухаммед понял, что должен исполнить требование односельчан, и решил дать русской армии бой.

Русские солдаты, оставляя у каждого завала убитых и раненых, под яростным огнём горцев всё ниже спускались в ущелье, где располагался аул.

На повороте тропы Полежаев сдержал шаг, прижался спиной к скале и, таясь, выглянул из-за неё вперёд на дорогу. Шагах в тридцати перед ним на краю дороги лежал большой камень, за ним вроде бы никто не прятался. Солдат, шедший впереди, уже миновал камень и махал ему рукой — давай, мол, не медли. Полежаев оторвался от стены и выбежал за поворот. Камень молчал. В тот же миг Приблуд вдруг выскочил из-под ног Полежаева и с громким лаем бросился к камню. Выстрел грянул, пёс перевернулся раз-другой и вытянулся поперёк тропы. Передний солдат обернулся, быстро опустился на колени, вскинул ружьё и с тылу выстрелил в того, кто прятался за камнем.

«Бедный Приблуд, — на бегу подумал Полежаев, — я ему сухарик, а он мне — жизнь!» Но горевать сейчас было некогда, надо было бежать что есть силы — в этом месте тропа была пристреляна, горцы били из винтовок снизу, пули свистели мимо головы, звонко ударялись об отвесную поверхность скалы, высекая острые каменные брызги.

Ущелье перед аулом было перегорожено тремя стенами. Бросились в штыки: замедлив движение, потеряешь в перестрелке под стеной больше солдат, чем в атаке с ходу.

У самого входа в селение стояла над обрывом невысокая башня с бойницами вместо окон; в ней находился Гази-Мухаммед с несколькими соратниками.

Атакующие залегли перед башней, прячась за камнями и развалинами. Стали выкликать охотников — добровольцев — штурмовать башню. Набралось сразу человек тридцать, Емельянов с Григорьевым тоже вызвались идти. Осаждённые встретили охотников залпом; упали многие; кто цел остался, повернул назад. Григорьев с Емельяновым оба не вернулись. Полежаев подумал: «Всё гадали, кого первого убьют, а война по-своему решила — вместе легли. И правда, надо бы продать что возможно — хоть по два-три рубля послать в деревню семействам».

Артиллеристы установили пушки, начали разрушать ядрами стены башни. Огонь из бойниц ослабел. Охотников больше не вызывали, поднялись все разом. Одни высаживали двери башни, другие уже ворвались сквозь пролом в стене. Гази-Мухаммед и его соратники были убиты.

После гибели Гази-Мухаммеда русское командование, надеясь на затишье, решило отвести с Кавказа некоторые полки. Среди них был и тот полк, в котором служил Полежаев.



«СЧАСТЛИВЕЦ, ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ЦЕНУ СМЕШНОГО СЧАСТЬЯ ТВОЕГО?»

Александр Полежаев

КЛЯТВА

Через шесть дней после казни декабристов было устроено торжественное молебствие в Московском Кремле. Самый высший московский священник — митрополит — благодарил бога за то, что он помог царю победить мятежников. Кремлёвская площадь была заполнена народом. На возвышении молилось царское семейство, вокруг — министры, вельможи, важные чиновники. Тысячи солдат гвардии, сняв кивера, опустились на колени. Над Москвой-рекой в честь торжества палили пушки; грохот залпов сливался с пением молитв. На краю площади, стиснутый в толпе, стоял юноша, почти мальчик: приподнявшись на носки и вытягивая шею, он с негодованием смотрел, как служители бога прославляют убийство. Когда митрополит, воздев руки, клялся во всём помогать царю и призывал всех клясться вместе с ним, мальчик про себя давал другую клятву. Он клялся отомстить за казнённых и продолжить их дело, всю жизнь бороться с царём, с его священниками, с его пушками. Было этому юноше тогда четырнадцать лет. Звали его Александр Герцен.

У Герцена был друг — Николай Огарёв. Они познакомились мальчиками и сумели сохранить дружбу до конца жизни. Им

удалось это потому, что цель жизни у них всегда была общая: бороться за свободу своего народа, своей страны, всех народов на земле. Много лет спустя Герцен вспоминал свою первую встречу с Огарёвым. Ещё не зная, о чём говорить, мальчики стали читать друг другу на память любимые отрывки из стихотворений и трагедий немецкого поэта Шиллера. И тут оказалось, что оба любят и помнят одни и те же строки: в этих строках поэт воспевал героев, с мечом в руках поднявшихся на тиранов. И тогда мальчики заговорили о героях 14 декабря, о несчастьях Родины, замершей под властью тирана, вместо стихов Шиллера они читали вольнолюбивые стихи Пушкина и Рылеева, которые запрещено было печатать, но которые и так были всем известны.

Однажды вечером мальчики гуляли на Воробьёвых горах. Внизу, окутанная дымкой, широко раскинулась Москва. В лучах заходящего солнца сияли купола церквей, крыши домов были облиты розовым светом. Мальчики вдруг, не сговариваясь, обнялись, охваченные общим чувством, и поклялись отдать жизнь борьбе за счастье людей.

Герцен и Огарёв учились в Московском университете. Они поступили туда через три года после того, как царь жестоко расправился с Полежаевым, но многие там помнили поэта, рассказывали о нём. Стихи Полежаева разными путями попадали в руки студентам, и редкий из них не знал эти стихи наизусть. Для молодых людей Полежаев был героем. Так случилось всегда: тех, кого царь беспощадно наказывал как преступников, народ считал героями и мучениками.

Герцен и Огарёв мечтали основать союз, похожий на тайные общества декабристов. Вместе с другими товарищами они часто собирались в комнате Огарёва, обтянутой красными в золотую полоску обоями, делились мыслями и планами. В кружке Герцена не называли друг друга, как было принято, «сударь» или «господин», а говорили — «гражданин». Так обращались друг к другу французы во время революции. Слово «гражданин» любили декабристы. Потому что «гражданин» — это человек,

для которого интересы государства, Отечества выше собственных интересов, который на всё готов, чтобы исполнить долг перед Отечеством. И так тоже было всегда: царь думал, что казнь, каторга, тюрьма, солдатчина испугают людей, заставят их навсегда отказаться от борьбы, но на смену казнённым, арестованным, замученным являлись новые борцы.

...Когда полк, в котором служил Полежаев, возвратился в Москву, Герцен и Огарёв сразу же отыскиали поэта. Полежаев быстро подружился с ними. Он радовался, глядя на своих молодых друзей. Если не все сердца ещё заледенели под гнётом самовластья, думал поэт, если ещё живут и действуют такие юноши, значит, никак нельзя терять надежду на лучшее будущее.

1—15

Когда царь отдал Полежаева в солдаты, журналы перестали печатать его стихи. Лишь спустя несколько лет на страницах журналов снова начали изредка появляться произведения поэта, но без его подписи. Вместо имени «Александр Полежаев» под напечатанными стихами стояли таинственные буквы и цифры. Например, «...рѣ ...вѣ». В старину после всех согласных на конце слов писали твёрдый знак, поэтому имя «Александр Полежаев» выглядело так: «Александрѣ Полежаевѣ». Издатели журналов, не смея назвать полное имя поэта, оставляли только последние буквы. Иногда же под стихотворением вообще оказывалось два твёрдых знака: «...ѣ ...ѣ». Цифры вместо подписи были такие: 1—15. И вот почему. Буква «А» (Александр) в русской азбуке по порядку первая, а буква «П» (Полежаев) — пятнадцатая (не считая «Й» — «И краткого», с которой фамилии не начинаются). Получалось, что «1—15» — это «А.П.».

Когда Полежаев воевал на Кавказе, было, наконец, разрешено издавать его стихи отдельными книжками. Сразу появились две книжки. В одной были помещены его стихотворения, в другой — поэмы про кавказскую войну. Каждая книжка была

украшена виньеткой. На первой странице сборника стихотворений под заглавием была изображена лира, которая считалась обозначением поэзии. Для военных поэм виньетка была другая: щит, шпага, рыцарские доспехи и скрещённые знамёна. Цензоры — чиновники, назначенные следить, чтобы не было напечатано ничего недозволенного, — сильно похозяйничали в книжках Полежаева. Некоторые его стихи они вовсе не разрешили издавать, в некоторых вычеркнули слова и строчки. И всё-таки книжки поэта-солдата увидели свет. Они были тотчас раскуплены. Тысячи читателей узнали о трудной судьбе автора и гордились тем, что никакие несчастья не заставили его сдаться — унижаться, льстить, просить пощады, не сломили его человеческого достоинства.

После возвращения с Кавказа Полежаеву удалось издать третью книжку. К ней был приложен его портрет. Многие читатели впервые увидели лицо поэта. Нарисовал портрет художник Алексей Уткин. Он познакомился с Полежаевым ещё в гимназическом пансионе. В поэме «Эрпели» Полежаев вспоминал школьного товарища, его смелый дар живописца.

Главное в портрете — большие чёрные глаза. Взгляд Полежаева печален, задумчив и прям. Видно, что он задумался глубоко, что мысли его невеселы, но видно также, что испытания не заставят его думать и поступать против своих убеждений. И ещё: поэт на портрете изображён в солдатской одежде. Это сразу напоминало читателям и о судьбе Полежаева, и об их жестоком времени.

Художник Уткин свёл Полежаева со своим приятелем, поэтом Соколовским. Соколовский сочинял дерзкие песни, в которых высмеивал царя и его приближённых и призывал скинуть всех царей с престола. У Соколовского собирались люди, которым было невмоготу выносить жестокость и несправедливость своего времени. Они рассуждали о том, как изменить порядки в России, и пели сочинённые хозяином песни.

Соколовский, Уткин и их товарищи восторженно встретили Полежаева. Они хорошо знали его стихи и давно считали поэта своим другом и единомышленником.

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТАНИЯ»

Незадолго до возвращения Полежаева с Кавказа из Московского университета был исключён студент Виссарион Белинский. Он пострадал за то, что написал драму под названием «Дмитрий Калинин».

— Кто дал право одним людям поработать других, отнимать у них священное сокровище — свободу? — спрашивал молодой автор.

Начальство объявило сочинение опасным, Белинскому грозили ссылкой в Сибирь. В конце концов его объявили неспособным к учению и прогнали из университета.

Белинский был земляком Полежаева: он тоже приехал в Москву из Пензенской губернии. С детства Белинский поражал всех серьёзностью: он жадно читал книги и всегда имел своё суждение о прочитанном.

Белинский был беден и жил в университете на казённый счёт. Он стал студентом, когда Полежаев уже воевал на Кавказе. В царствование Николая Первого все студенческие вольности были уничтожены. Царь приказал завести в университете такие же порядки, как в военных училищах. Со студентами обращались грубо, за малейшие провинности их наказывали. Чтобы жить безопасно, надо было ходить со смиренным видом, всем кланяться, всем льстить, даже уряднику, который следил за порядком в комнатах, а Виссарион Белинский был человек со свободной душой. Когда приходилось кланяться тому, кого он считал недостойным своего поклона, когда приходилось молчать в ответ на несправедливость, Белинскому казалось, что он совершает подлость.

Белинский, как и Полежаев, выше всего ценил свободу в мыслях и поступках — поэтому и судьбы их по-своему схожи. В стране, где царит деспотизм, людей со свободной, смелой душой всегда ждёт нелёгкая участь.

Белинский собрал вокруг себя товарищей-студентов, которые сходно с ним думали и чувствовали. Свой кружок Белинский и его товарищи назвали «Литературное общество 11-го номера» — по номеру комнаты, в которой жил Белинский. В «Обществе 11-го номера» и в самом деле много говорили о литературе, переписывали и обсуждали запрещённые стихи декабристов, Пушкина, Полежаева. Товарищи уговаривали Белинского самого написать драму и высказать в ней то, что их волновало. Героем своей драмы «Дмитрий Калинин» Белинский сделал крепостного человека. Крепостной человек, раб говорил о праве всех людей быть свободными, и это придавало юношескому, неопытному произведению большую силу.

После изгнания из университета Белинский с трудом зарабатывал себе на хлеб. Он давал уроки, переводил заметки из иностранных журналов, писал небольшие отзывы на новые книги. Но в этом невысоком человеке со впалой грудью и бледным, болезненным лицом жила неутомимая мощь настоящего бойца. Всякую минуту, которая оставалась у него от неинтересной работы ради заработка, Белинский был занят большой статьёй; в ней он размышлял о прошлом и настоящем русской литературы. Статья называлась — «Литературные мечтания». Когда она была напечатана, Белинский сразу стал знаменит. Не всем статья пришлась по вкусу, но все изумлялись свежести и самостоятельности её мыслей, силе её слога. Сам Пушкин обратил внимание на молодого критика и говорил, что хотел бы сотрудничать с ним. А для тогдашней молодёжи Белинский сделался героем.

В «Литературных мечтаниях» Белинский назвал в ряду лучших русских поэтов Полежаева. Он писал, что Полежаев — замечательный талант, что стихи, в которых поэт рассказывает

читателям о своей жизни, о своей судьбе, о своих страданиях и надеждах, полны большого чувства, а любимое слово поэта — свобода.

В душевной казарме, в тюремном подвале, в походной палатке Полежаев, случалось, горевал о том, что современники не оценят его стихи, а до будущих читателей они и вовсе не дойдут. Белинский же писал, что стихи Полежаева стали доброй и заметной частью русской поэзии. Слова Белинского напоминали поэту, что он не напрасно живёт на свете. Пусть впереди новые беды, новые бури — надо плыть вперёд, надеяться, верить.

Через рассыпанные волны
Катились груды новых волн,
И между них, отваги полный,
Нырлял пред бурей утлый чёлн...

Эти строки Полежаева любил Белинский.

ПРЕВРАЩЕНИЯ ПОЛКОВНИКА

Прошло восемь лет с тех пор, как отставной полковник Иван Петрович Бибиков подал царю донос на Полежаева. В награду за усердие царь сделал Бибикова жандармом. Жандармами назывались служащие тайной полиции, которая отыскивала и наказывала врагов царского строя. Начальником, или «шефом», жандармов был граф Бенкендорф, один из самых близких царю людей. Бибиков был родственником и другом Бенкендорфа. Он охотно выполнял задания шефа. Он, например, старался встречаться с Пушкиным: следил за его поведением, прислушивался к его разговорам, а потом обо всём, что узнавал, докладывал Бенкендорфу. Но скоро хлопотливая жандармская служба надоела полковнику. Бибиков был богат, а тут получил наследство и стал ещё богаче. Он отказался от должности и снова зажил барином.

Летом 1834 года Иван Петрович Бибиков поехал по делам в Рязанскую губернию. Здесь у него было имение: хорошая земля и пятьсот душ крепостных крестьян. На обратном пути Бибиков приболел и задержался в небольшом городке Зарайске.

Тем же летом в Зарайске оказался полк, в котором служил Полежаев. Так было заведено: несколько месяцев в году полк квартировал в Москве и нёс караульную службу, а остальное время располагался в недалёких городах и сёлах.

Бибиков узнал, что рядом с ним живёт человек, которого он погубил. Теперь этот человек был не дерзкий, своевольный студент, а знаменитый поэт. Вся Россия читала его стихи. Многие читатели знали о тяжёлой доле поэта, сочувствовали ему и презирали тех, кто был виноват в его несчастьях. Никому не было известно, что сочинителем доноса, погубившего Полежаева, был Бибиков, но доносчики всегда боятся, что их имя будет открыто. Иван Петрович слыл человеком образованным: он любил живопись и собрал у себя в имении целую картинную галерею, пописывал стишки. И вдруг, боялся Иван Петрович, обнаружится, что такой любезный господин, как он, способен взять лист бумаги и написать о другом человеке такое, за что этого человека посадят в тюрьму или сдадут в солдаты. И ещё Иван Петрович думал о будущем. О том, что через пятьдесят или сто лет люди всё также будут читать стихи Полежаева и жалеть его погубленную жизнь и что в то время никто, конечно, уже не станет держать в тайне старые полицейские бумаги: детей и внуков Ивана Петровича будут считать детьми и внуками предателя. И Бибиков желал исправить дело. Он решил на глазах у всех приютить, приласкать поэта и одновременно просить за него у своего всеильного друга и родственника Бенкендорфа. Это и для будущего хорошо: да, он, Бибиков, первый сообщил правительству о преступных стихах Полежаева, но он же первый умолял правительство простить поэта.

...И вот Полежаев, вольно поджав под себя ноги, устроился на широком красном диване в гостиной у Бибикова. Постылая

солдатская одежда сброшена в прихожей: на Полежаеве — голубой халат хозяина с бурым кунным воротником, обут он в домашние туфли без задника, расшитые золотой ниткой. Полежаев покуривает трубку, да не солдатскую коротенькую носогрейку, а роскошную — с мундштуком до полу и черешневым чубуком; табак дорогой — сладкий, ароматный дым дурманит голову. Добрый Иван Петрович, рослый и широкоплечий, по-военному прямо сидит напротив в кресле, расспрашивает поэта о его жизни, просит читать стихи. Он намерен выхлопотать Полежаеву отпуск на две недели: эти две недели поэт проведёт с семейством Бибикова.

Жена и дети Ивана Петровича жили в то лето под Москвой. Иван Петрович тут же сочинил им большое послание. Написал о встрече с Полежаевым, о молодости поэта, о свидании его с царём, о солдатчине, да так написал, словно услышал обо всём впервые.

Полежаев смотрел на неожиданного друга и не мог сдерживать слёзы. Не потому он плакал, что вспомнил свои несчастья, а потому, что всякий раз до слёз радовался, когда судьба сводила его с добрым человеком.

«МОРЕ СТОНЕТ — ПУТЬ ДАЛЁК»

Утреннее солнце позолотило плотно затянутую штору. Екатерина Ивановна, дочь отставного жандармского полковника Бибикова, быстро оделась и из своей комнаты на верхнем этаже, которую называла «светёлкой», спустилась в зал. За огромным — во всю стену — окном зала был виден парк: высоко в ясном небе сверкали листвой берёзы, переливалась шёлком аккуратно подстриженная трава, пестрели на клумбах красные и белые цветы, разбегались во все стороны дорожки, посыпанные ярким жёлтым песком. У окна на треногой подставке-мольберте стояла картина французского художника: ночь на

море. Высокие чёрные волны раскачивают корабль, тревожные тучи мчатся по небу, то и дело скрывая тусклый круг луны, но вдали, у самого горизонта, узенькой красноватой полоской уже прорезается рассвет. Екатерина Ивановна увлекалась живописью и перерисовывала картину в свой альбом.

В зале она задержалась у мольберта, потом заглянула в открытый альбом — и подумала, что её рисунок никуда не годится. Всё она нарисовала точно так, как на картине, — и волны, и корабль, и тучи, и рассвет, но у неё всё неподвижно, застыло, а у художника волны грозно вздымаются, стараясь перевернуть корабль, тучи несутся по небу, рассвет разгорается — и от этого при взгляде на картину сердце сжимается тревогой. Екатерина Ивановна вздохнула — и пошла к роялю.

День начинался уроком музыки. Екатерина Ивановна разучивала сонату Бетховена, хотя её воспитательница-гувернантка упрямо твердила, что великий композитор был великий страдалец и поэтому его музыку в силах понять только тот, чьё сердце испытало страдания. Но Екатерине Ивановне пошёл семнадцатый год, она много читала — и поэтому думала, что хорошо знает жизнь. Каждое утро, до завтрака, она садилась к роялю и час или полтора сама играла сонату.

Говорили, будто композитор хотел передать в музыке лунную ночь, и Екатерина Ивановна, едва начала играть, сразу же нарисовала в воображении горное озеро, большую луну над ним, сияющую дорожку на чёрной, слегка тронутой рябью глади воды. Но ей вдруг показалось, что картина, которую она вообразила, такая же неподвижная, как рисунок в её альбоме. Это была не настоящая лунная ночь, а будто швейцарский вид из книжки по географии.

«От этого и музыка моя холодна», — огорчённо подумала девушка.

Она не стала больше играть, поднялась от рояля и, подойдя к окну, отворила его. И сразу же услышала громкое, на разные голоса, пение птиц.

В зал шумно вбежал младший брат Екатерины Ивановны, мальчик лет десяти.

— Папа́ приехал, — закричал он по-французски. — Привёз с собой то ли унтер-офицера, то ли солдата, да такого странного!

— Чем же он странный? — улыбаясь мальчику, спросила сестра.

— У него взгляд орла!

Несколько минут спустя в зал вошёл отец, его голубые глаза радостно сияли. Он почтительно придерживал за локоть невысокого человека в солдатском мундире.

— Друг мой, — торжественно проговорил Биби́ков, — позволь тебе представить Александра Ивановича Полежаева, нашего знаменитого поэта.

Полежаев поклонился и пристально посмотрел на Екатерину Ивановну. Она не отвела взгляда. Какие глубокие, какие чёрные глаза у этой девочки, подумал Полежаев, и как открыто, как ясно она смотрит.

Иван Петрович просил дочь занять дорогого гостя. Она отвечала, что на фортепьяно играет нынче дурно; может быть, Александру Ивановичу угодно познакомиться с её рисунками. Полежаев остановился у картины. Он сказал, что и себя видит пловцом в бурном море: волны крепчают, и ветер всё сильнее, и внизу — чёрная бездна.

— Всё чернее
Свод надзвездный;
Всё страшнее
Воют бездны;
Ветр свистит,
Гром гремит,
Море стонет —
Путь далёк...
Тонет, тонет
Мой челнок!

Он снова взглянул на картину. В ней всего главнее, всего дороже не корабль, не волны, не быстрые тучи, а эта тонкая золотая полоска вдали. Значит — скоро рассвет. Взойдёт солнце. Настанет новый день. В этой полоске — надежда.

Иван Петрович Бибииков сказал, что часто от самого человека зависит, будет ли его жизнь спокойной и безопасной или сделается похожей на корабль в грозном море.

Полежаев засмеялся — он с детства запомнил весёлую историю: мудрец уговаривал моряка не плыть в море, потому что там, в море, нашли свою смерть моряковы отец и дед; моряк же просил мудреца не ложиться в постель, потому что у того отец и дед умерли в собственной постели. Наверно, человеку с душой моряка суждено погибнуть в морской пучине.

— Неизменный
Друг свободы, —
С юных лет
В море бед
Я направил
Быстрый бег
И оставил
Мирный брег!

Иван Петрович сказал, что составил письмо графу Бенкендорфу: если граф замолвит перед царём словечко, Полежаева произведут в офицеры — и он снова свободный человек. Хорошо бы только Александр Иванович написал стихами что-нибудь вроде просьбы о помиловании — граф Бенкендорф мог бы поднести эти стихи государю.

Полежаев сверкнул глазами:

— Я против царя ни в чём не виноват! — и повторил коротко: — Ни в чём!

Екатерина Ивановна подумала:

«У него взгляд орла!..»

ЗОЛОТАЯ ПОЛОСКА

Никогда не было Полежаеву так хорошо. Он жил среди добрых, заботливых людей. Эти люди старались, чтобы поэт забыл свои несчастья, чтобы в душе его поселились радость и надежда.

Дни проходили в интересных беседах, в занятиях поэзией, музыкой, живописью.

Полежаев много рассказывал о себе, о Кавказе, о походах и боях, в которых ему пришлось участвовать. Он никогда не рассказывал, как трудно пробираться в тумане по узкой горной тропе, как страшно ждать выстрела из-за каждого камня, как тяжело терять в бою товарищей и убивать самому. Он просто вспоминал самые обыкновенные происшествия недавней войны, а слушателям его казалось, будто они видят солдата, осторожно пробующего ногой повисший над пропастью камень дороги, жёлтую вспышку выстрела на одинокой, безлюдной скале, воина с ружьём в руках, упавшего под серой крепостной стеной, печально плывущие над ним облака.

Поэт не говорил о своём детстве, о диком барстве, жестокости господ и бесправии рабов. О своей юности, погубленной солдатчиной. О ледяных глазах царя. О свисте шпидрутенгов вдоль «зелёной улицы», от которого холодеет кровь. О долгих ночах в тюремном подземелье, где лишь стоны замученных узников, звон цепей да крысиный писк нарушают мрачную тишину. Он понимал, что добрые люди, его приласкавшие, и не ведают, что есть на свете та жестокая жизнь, которая была его обычной жизнью, и ему было жаль смущать спокойствие и радость этих людей.

Особенно подружился Полежаев с юной Екатериной Ивановной. Она видела, что Полежаев не дорожит жизнью, и ей хотелось, чтобы жизнь снова приобрела для него цену. Девушке казалось, что её верная дружба поможет поэту справиться с бедами, спасёт его. И Полежаеву передалось возвышенное

чувство девушки. В стихах к ней он сравнивал себя с измученным бурями пловцом, который вдруг увидел, что над его головой открывается чистое, голубое небо. Он писал, что снова полюбил жизнь, потому что в жизни теперь появилась надежда.

...В светлые лунные ночи они катались на лодке по Москверке. Полежаев брался за вёсла. Екатерина Ивановна пробиралась на корму, к рулю. Между ними, расправляя на скамье широкие юбки, устраивалась гувернантка. Мальчик, брат Екатерины Ивановны, сидел на носу и воображал себя капитаном. Полежаев делал несколько сильных гребков, лодка долго плыла по течению, и в тишине слышно было, как с поднятых вёсел тонкой струйкой стекает вода. Лунный свет отражался в реке: казалось, будто за бортом плещутся, покачиваясь, голубоватые осколки луны.

Екатерина Ивановна вспомнила строчку древнего поэта: «Луна дружелюбно молчала».

Полежаев сказал, что перевёл недавно французское стихотворение. Оно так и называется — «Лунный свет». В тихую лунную ночь над морем послышался всплеск. Что это? Удалой гребец опустил в воду весло? Или птица, низко пролетая, задела крылом волну? Или морской дух разыгрался, пробуждённый светом луны? Нет, это палач бросил в воду страшный мешок — жестокий владыка приказал утопить свою непокорную рабыню. Самые тяжкие беды — те, которых не ждёшь, которые обрушиваются на человека посреди мирной, счастливой жизни. Когда луна дружелюбно молчит.

Серебряная лилия-кувшинка светилась на чёрной поверхности воды. Полежаев резко перегнулся через борт. Екатерина Ивановна вскрикнула, но он уже протягивал ей сорванный цветок.

— Не тревожьтесь, я теперь жить хочу. А пока вы рядом, ничего не может произойти дурного.

...Дни летели быстро.

Иван Петрович Бибииков бессильно разводил руками: Поле-

жаев отпущен всего на две недели — ровно в срок поэт должен снова быть в полку.

Впрочем, успокаивал Бибииков, он очень надеется на письмо к графу Бенкендорфу. Царь великодушен: он, конечно, помилует поэта...

Настало утро — Екатерина Ивановна, как обычно, спустилась из «светёлки» в зал, и необыкновенная пустота вокруг, которую она никогда не испытывала прежде, напомнила ей, что накануне вечером Полежаев уехал. Зал, и без того большой, показался ей ещё больше, и удивительно просторным показался ей сад за окном, залитый светом неяркого пасмурного утра; неподвижные деревья, красные и белые цветы будто отодвинулись вдаль, жёлтые песчаные дорожки убегали куда-то в неведомые края. Екатерина Ивановна вдруг почувствовала, как велик мир и какие огромные расстояния разделяют в нём людей.

Девушка привычно подошла к мольберту. Вместо старинной картины на нём стоял теперь нарисованный Екатериной Ивановной портрет Полежаева. Она изобразила поэта в минуту вдохновения. Орлиный взгляд его устремлён вдаль. В руке он держит перо, занося на лист бумаги только что рождённые стихи. На поэте — мундир солдата.

Под портретом Полежаев написал шесть строк:

Судьба меня в младенчестве убила!
Не знал я жизни тридцать лет,
Но ваша кисть мне вдруг проговорила:
«Восстань из тьмы, живи, поэт!»
И расцвела холодная могила,
И я опять увидел свет...

Был час музыкального урока. Екатерина Ивановна играла сонату Бетховена, и в её памяти вставала медлительная река, качнувшаяся лодка, цветок кувшинки, горячий взгляд человека, которого она неведомо когда ещё увидит — да и увидит ли?..

«О ГРУСТНО МНЕ!..»

Полежаев в полк не вернулся.

В дом Бибиковых явился фельдфебель, назначенный отыскивать беглеца.

Иван Петрович очень рассердился. Он выпросил Полежаева из полка под свою ответственность и теперь считал, что поэт его опозорил.

А у Полежаева просто неостало сил после двух недель счастья сразу возвратиться в казарму, в мир неволи, комацд и ругательств.

Грустно видеть бездну чёрную
После неба и цветов...

Проступок Полежаева оставили без наказания, потому что иначе оказался бы виноват и полковник Бибиков, который поручился за поэта.

Но в это же время в руки к Ивану Петровичу попало новое стихотворение Полежаева — «Чёрные глаза». Оно начиналось так:

О грустно мне!.. Вся жизнь моя — гроза!

Это были стихи о любви. Любовь помогла поэту забыть прежние страдания, но принесла неизмеримо бóльшие: он никогда не сможет быть вместе с той, которую любит.

Бибиков понял, что стихотворение посвящено его дочери. Поняли это и все остальные, кто знал Полежаева и Екатерину Ивановну. Полковник был страшно разгневан. Мысль, что поэт-бунтовщик, сосланный царём в солдаты, даже в мечтах мог поставить себя рядом с его, Бибикова, дочерью, приводила полковника в негодование. Он винил себя в том, что обласкал Полежаева. Доносчик, виноватый во всех несчастьях поэта, он теперь его же считал неблагодарным. Лучше пусть люди узнают, что он донёс на Полежаева, чем о любви Полежаева к Екатерине

Ивановне. Так думал отставной жандарм. И что скажут в будущем, стало ему теперь тоже неинтересно.

Иван Петрович объявил, что стихи Полежаева ужасны, что сам он — дурной, неблагодарный человек, что двери их дома навсегда закрыты для поэта.

Так полковник Бибииков второй раз предал Полежаева.

И друзья — злодеи скрытные —
Злобно предали меня! —

писал поэт.

На душе у него было тяжело. Те, кому он поверил как друзьям, оказались врагами; настоящих друзей он тоже потерял.

Знойным летом 1834 года в Москве часто случались пожары; едкий запах дыма висел над городом, воздух был непрозрачен.

В то лето были арестованы Герцен и Огарёв, Уткин и Соколовский, а с ними товарищи, которые у них собирались.

Их поднимали ночью. Полицейские рылись в их книгах, бумагах, рисунках.

Всякая книга, всякая запись в тетради объявлялась подозрительной, преступной.

Карету, в которой увозили арестованного, окружали солдаты, конные казаки.

Люди, пережившие 14 декабря 1825 года, в те дни говорили юношам, студентам:

— Настал ваш черёд.

Через несколько месяцев был объявлен приговор: поэта Соколовского и старого полежаевского приятеля художника Уткина посадили в крепость, Герцена и Огарёва сослали в отдалённые города.

Москва опустела для Полежаева.

Поэт тосковал: только подружился он с надеждой, поверил, что полоска на горизонте запылывает рассветом, как снова тьма

сгустилась вокруг, снова сомкнулись над головой мрачные
грозовые тучи.

И оттого, что была надежда, были счастливые дни, ночь
теперь казалась ещё темнее, ещё беспросветнее:

Грустно видеть бездну чёрную
После неба и цветов,
Но грустнее жизнь позорную
Убивать среди рабов.



«ЧТО Ж БУДЕТ ПАМЯТЬЮ ПОЭТА?»

Александр Полежаев



ДОЖДИ

Полежаев говорил:

— К чему киснуть и ходить с грустной физиономией: этим горю не поможешь.

И многие люди, которые встречались с поэтом, считали его весёлым человеком.

Лишь те, кто хорошо знал Полежаева, замечали, что в его глазах всегда таится тоска.

В русской песне, которую сочинил Полежаев, были такие строчки:

Соловей мой, соловей,
Ты от бури и дождей,
Ты от пасмурных небес
Улетел в дремучий лес.
Ты не свищешь, не поёшь —
Солнца ясного ты ждёшь!

Но солнце ясное не восходило.

Попытки освободить поэта от солдатчины заканчивались неудачей. Когда полковник Бибиков сочинял письмо начальнику жандармов с просьбой помочь Полежаеву, он, наверно, не подумал, что, кроме него, были другие доносчики. А в папке у шефа жандармов Бенкендорфа лежала тетрадь — и в ней

выписанные другим доносчиком строчки стихов Полежаева, в которых поэт беспощадно осуждал царя, воспевал свободу. На всякое прошение сделать Полежаева офицером следовал царский ответ: «Повременить».

Стихов Полежаева почти не печатали. Цензура сделалась ещё строже, чем прежде, и чуть не в каждой его строчке усматривала что-нибудь недозволенное. Он составил несколько сборников своих сочинений — и ни один не было разрешено издать.

Но серое пасмурное небо нависло не только над Полежаевым. Вся Россия как будто забыла о ясном солнце. И это печалило Полежаева больше всего. Он горевал, что «притеснители торжествуют на земле!».

Полежаев теперь часто проводил вечера в душном, битком набитом трактире. Он угощал вином своих товарищей-солдат, таких же несчастных, как он сам, и, стараясь перекричать шум, читал им стихи. Ему хотелось хоть на несколько часов забыть про бесконечные несчастья и обиды. Но когда хмель проходил, на душе становилось ещё хуже.

Полежаев никогда не жаловался на свою долю, держался бодро, даже весело, но в стихах поэт не может скрыть свои настоящие чувства, в стихах он обязательно искренен. И стихи Полежаева выдавали его отчаяние:

Перестаньте же без умолку идти,
Проливные, безотрадные дожди!
Дайте вёдру, дайте солнцу проглянуть!
Дайте сердцу после горя отдохнуть!

«ВЕНОК ПОБЕДНЫЙ»

В последних числах января 1837 года на Россию обрушилось великое горе — умер Пушкин.

Он был убит на поединке приехавшим из чужих краёв

офицером Дантесом, но все понимали, что за спиной Дантеса стояли те, кто сделал невыносимой жизнь великого поэта, — царь, его приближённые, Бенкендорф, жандармы.

Они постоянно следили за Пушкиным, стесняли его свободу, запрещали ему печатать многие произведения, вмешивались в его семейную жизнь.

Смерть Пушкина показала, что он был настоящий народный поэт. Тысячи людей пришли к его дому, чтобы проститься с ним — и это были не вельможи, а люди простого звания, одетые в мужицкие тулупы, потёртые шинелишки, а то и просто в лохмотья. Многие плакали, старались задержаться у гроба, чтобы всмотреться в лицо поэта.

«Народ приходил к Пушкину толпами, а знать не отдала последней почести русскому гению», — писал в эти дни один из друзей поэта.

Власти напугались. Последовал приказ, как можно меньше говорить и писать о гибели Пушкина и похоронить его втайне.

Когда в одной из газет про смерть Пушкина было напечатано: «Солнце нашей поэзии закатилось!», а известие о его кончине взято в чёрную рамку, начальство сделало редактору строгий выговор. Рамка полагалась лишь важным чиновникам, а Пушкин имел чин маленький, да и тот был ему в тягость, назвать же человека, который только и делал, что «писал стихи», солнцем власти сочли совершенно неприличным.

Но нельзя было запретить народу думать по-своему об убийстве Пушкина. Ещё люди со всех концов города стекались к дому на набережной Мойки, где была последняя квартира Пушкина, ещё гроб его, окружённый жандармами, не вынесли скрытно, ночью, без погребальных факелов, не завернули в рогожу, не погрузили в сани, не умчали в упрятанный за снегами Святогорский монастырь, а по рукам уже ходило сотни раз переписанное, тысячи раз затверженное наизусть стихотворение — «Смерть Поэта»:

Погиб Поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..

Стихотворение написал ещё мало кому известный поэт — Михаил Юрьевич Лермонтов. Он служил офицером в гусарском полку. Он был молод, стихи писал с детства, но не спешил распространять и печатать их. Смерть Пушкина потрясла молодого поэта. «Сильное негодование вспыхнуло во мне», — рассказывал он. Лермонтов знал, как преследовало Пушкина высшее общество. Сердце, совесть, долг поэта звали его ответить на убийство народного гения, русской славы. Герцен говорил, что пушкетный выстрел, убивший Пушкина, пробудил душу Лермонтова. В последних строчках стихотворения, сочинённых сразу после похорон Пушкина, Лермонтов прямо назвал тех, кого народ считал убийцами великого поэта:

Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!

Разгневанный царь приказал отправить Лермонтова на Кавказ, туда, где недавно воевал Полежаев. Там с новой силой разгоралась война с горцами. И молодой поэт мог легко погибнуть в бою...

А в Москве Полежаев тоже сочинил стихи на смерть Пушкина. Он назвал Пушкина лучезарной звездой, взошедшей над Россией, народной гордостью и надеждой. Он писал, что Пушкин внушал народу высокие мысли, учил народ выражать эти мысли прекрасным, гордым языком.

Где же ты, поэт народный,
Величавый, благородный,
Как широкий океан;
И могучий и свободный,
Как суровый ураган? —

спрашивал в стихотворении Полежаев. И отвечал: убить Пушкина невозможно — после смерти великого поэта его поэзия расцветает новой жизнью.

Полежаев горячо принял стихотворение Лермонтова «Смерть Поэта». Не называя имени, он посвятил несколько строк тому, кто пришёл в русской поэзии на смену Пушкину:

Поэзия грустит над урной твоей, —
Неведомый поэт, но юный, славы жадный,
О Пушкин! преклонил колено перед ней...

...Спустя годы Герцен составит страшный список: он назовёт имена замечательных поэтов, погубленных самодержавием. Есть в этом списке Рылеев, Пушкин, Полежаев, Лермонтов. Настоящие поэты, одарённые открытым сердцем и чуткой совестью, особенно остро переживают неволю, жестокость, несправедливость, они сильнее всех сочувствуют народному горю. Им трудно жить в стране, где царит самовластье, трудно уживаться с владыками. Но борьба, которую поэты ведут с царями, всегда заканчивается победой поэтов. Цари убивают их, но невозможно убить поэзию. Рылеев, Пушкин, Полежаев, Лермонтов вечно живы в сердце народа и народной памяти.

И, предчувствуя это, Полежаев писал в стихотворении на смерть Пушкина:

Пир унылый и последний
Он окончил на земле;
Но, бесчувственный и бледный,
Носит он венок победный
На возвышенном челе.
О, взгляните, как свободно
Это гордое чело!
Как оно в толпе народной
Величаво, благородно,
Будто жизнью расцвело!

«ПРОСТИТЕ НАВСЕГДА»

Дни Полежаева были сочтены. Неволя, бесконечные несчастья, долгие годы солдатчины, вино разрушили здоровье поэта. Чахотка, которой он заболел в тюремном подземелье, усилилась.

Но горе мне с другой находкой:
Я ознакомился с чахоткой,
И в ней, как кажется, сгнию!.. —

писал поэт.

...Удушьем, кашлем — как змея,
Впилась, проклятая, в меня;
Лежит на сердце, мучит, гложет
Поэта в мрачной тишине
И злым предчувствием тревожит
Его в бреду и в тяжком сне...

Полежаев не хотел умирать, но и не боялся смерти. «Жизнь страшнее ста смертей», — говорил он о своей жизни.

И чем меньше оставалось жить, тем мучительнее была неволя. Горько было умирать рабом. Хотелось сбросить опостылевший зелёный с красным воротом мундир, хоть немногие оставшиеся дни походить по земле свободным человеком — не выстраивая каждую отпущенную ещё минуту по заведённому распорядку, не слушаясь команд, не вытягиваясь в струнку перед всяким встречным чином. Хотелось постоять над синей прохладной рекой, побродить по лесу, слушая, как шуршат под ногами первые жёлтые листья, как птицы, предчувствуя скорую зиму, громко и печально поют в поредевших ветвях.

Сам не зная зачем, повинувшись только чувству, Полежаев опять без спросу оставил полк, продал солдатский мундир, но не пошёл ни в лес, ни на речку — купил вина и старался им заглушить тоску.

Начальство на этот раз решило не церемониться с Поле-

жаевым и наказать его розгами. Поэта привязали к низкой деревянной скамье, до блеска вытертой теми, кого на ней наказывали прежде. В бочке с протухшей водой мокли розги. Два угрюмых солдата молча принялись за привычное дело. Прутья были осенние, не гибкие. Они ломались, и солдаты, выбирая из бочки, связывали новый пучок. После наказания полковой фельдшер долго вытаскивал из спины Полежаева занозы.

Наказание не унизило Полежаева. Он был солдат, и его наказали как солдата. Сколько видел он на своём веку битых и забитых насмерть товарищей. Настала его очередь. У него хватило сил, не проронив стона, выдержать побои, но сил оставаться рабом больше не было...

Осенью 1837 года Полежаев в жестокой чахотке был доставлен в Московский военный госпиталь.

Если ему становилось полегче, он вставал с жёсткой солдатской койки и, с трудом переставляя ноги, брёл к окну. Уже выпал снег, двор за окном был белый, из глубоких сугробов торчали тонкие стволы рябин. На концах облетевших ветвей краснели гроздья. Прилетали птицы клевать ягоду. Тяжёлая ворона никак не могла уцепиться за тонкую веточку — обламывая её, срывалась, сердито каркала, между тем как ловкие дрозды так и стригли клювом ягоды. Снег вокруг дерева был усеян красными каплями упавших рябинок. Полежаев знал, что не только новых ягод не увидит, но и до новых листьев не доживёт.

Взойдёт она, взойдёт, как прежде,
Завтра ранняя звезда,
Проснётся неба красота,—
Но я, я небу и надежде
Скажу: «Простите навсегда!»
Взгляну с улыбкою печальной
На этот мир, на этот дом,
Где я был с счастьем незнаком,
Где я, как факел погребальный,
Горел в безмолвии ночном...

...Царь решил, что настала пора простить Полежаева. Он пожаловал ему самый первый офицерский чин прапорщика. Приказ переписали в канцелярии, посыльный положил его в сумку и повёз из Петербурга по назначению. Штаб дивизии стоял в городе Калуге, там приказ занесли в нужные книги, опять переписали и послали уже со своим гонцом в штаб полка. Канцелярские служители в установленном порядке оформили бумаги и дожидались удобного случая, чтобы сообщить о производстве в офицерский чин находящемуся на излечении в госпитале Полежаеву. А в канцелярии госпиталя готовили для отправки в штаб полка другую бумагу — о том, что 16 числа января 1838 года Полежаев «волею божиею помре».

Несколько сослуживцев, назначенных проводить Полежаева в последний путь, нашли в госпитальном подвале его тело и обрядили в наскоро сшитый офицерский мундир, которого при жизни он никогда не носил. Его могила, никак не отмеченная, тут же затерялась среди других безымянных могил таких же одиноких, никому не нужных бедняков.

И нет ни камня, ни креста,
Ни огородного шеста
Над гробом узника...

«ВОТ ПАМЯТЬ ДОБРЫХ...»

Пушкин говорил, что поэт — хочет того или нет — всегда рассказывает о себе в своих стихах.

Он может умолчать о внешних обстоятельствах своей жизни, но неизбежно открывает людям то, что его тревожит, печалит, радует.

Без этого не бывает настоящей поэзии.

Полежаев поведал в стихах о себе и своём времени. Люди не узнали или позабыли многие подробности его жизни, но стихи донесли до потомков — тех, кто явился на свет после Поле-

жаева, — его думы, чувства, его отношение к событиям, которых он был свидетелем или участником.

Потомкам сделался ясен образ талантливого поэта, его внутренний мир.

Полежаев понимал, что не по мундиру будут судить о нём завтрашние читатели. Им безразличны его чин и звание. Он понимал также, что потомки не осудят его за «грехи» — за его проступки.

Он шутил, что человек несёт свои грехи «на другой свет», как крестьянин несёт заработанную им подать — оброк — к своему господину. Он верил, что только стихи переживут его и останутся нужны, дороги и понятны в будущем светлом и справедливом мире.

С этой верой поэт жил, творил и умер.

Что ж будет памятью поэта?
Мундир?.. Не может быть!.. Грехи?..
Они оброк другого света...
Стихи, друзья мои, стихи!..
...Вы не погибнете с страдальцем:
Увидит чтец иной под пальцем
В моих тетрадках А и П,
Попросит ласковых хозяев
Значенье литер пояснить —
И мне ль бессмертному не быть? —
Ему ответят: «Полежаев...»
Прибавят, может быть, что он
Был добрым сердцем одарён,
Умом довольно своенравным,
Страстями; жребием бесславным
Укор и жалость заслужил;
Во цвете лет — без жизни жил,
Без смерти умер в белом свете...
Вот память добрых о поэте!

Чтобы быть счастливым, человек должен знать, что живёт не зря.

Полежаеву досталась необыкновенно трудная судьба.
«Вся жизнь моя — гроза!» — эти слова не случайно вырвались из-под его пера.

И всё же, вспоминая свою грозную, полную бед и страданий жизнь, Полежаев мог быть счастливым: он оставил после себя на земле прекрасный, бесценный дар.



ОГЛАВЛЕНИЕ

«Но в моих очах природа отуманена, как тень»	3
«Судьба меня в младенчестве убила»	19
«Судить решительно и смело умом своим о всех вещах» . . .	45
«Я снова узник и солдат»	71
«Какой земли, какой страны герои падшие войны?..»	96
«Счастливцев, знаешь ли ты цену сменного счастья твоего?»	115
«Что ж будет памятью поэта?»	133

ДЛЯ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

Владимир Ильич Порудоминский

«ВСЯ ЖИЗНЬ МОЯ — ГРОЗА!»

Повесть

ИБ № 2240

Ответственный редактор

И. В. Омелья

Художественный редактор

А. Б. Саврыгина

Технические редакторы

Н. Г. Мохова и Г. Г. Седова

Корректоры

Л. А. Лазарева и Ж. Ю. Румянцева

Слано в набор 02.05.81. Подписано к печати 14.10.81. Формат 60×84¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт обыкновенный. Печать высокая. Усл. печ. л. 9,3. Усл. кр.-отг. 11,63. Уч.-изд. л. 6,34 + + 8 вкл. = 7,11. Тираж 100 000 экз. Заказ № 3717. Цена 60 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр. М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сушеский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Порудоминский В.

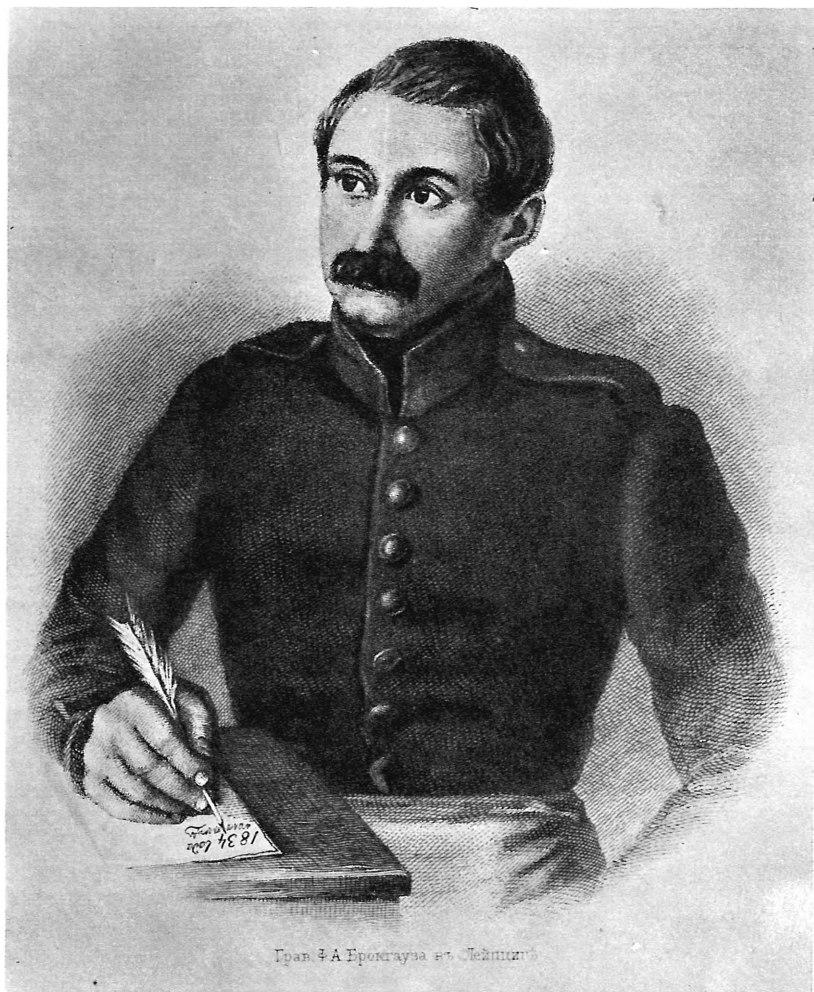
П60 «Вся жизнь моя — гроза!»: Повесть/ Оформл. Н. Пономарёвой.— М.: Дет. лит., 1981.— 143 с., фотоил.

В пер.: 60 к.

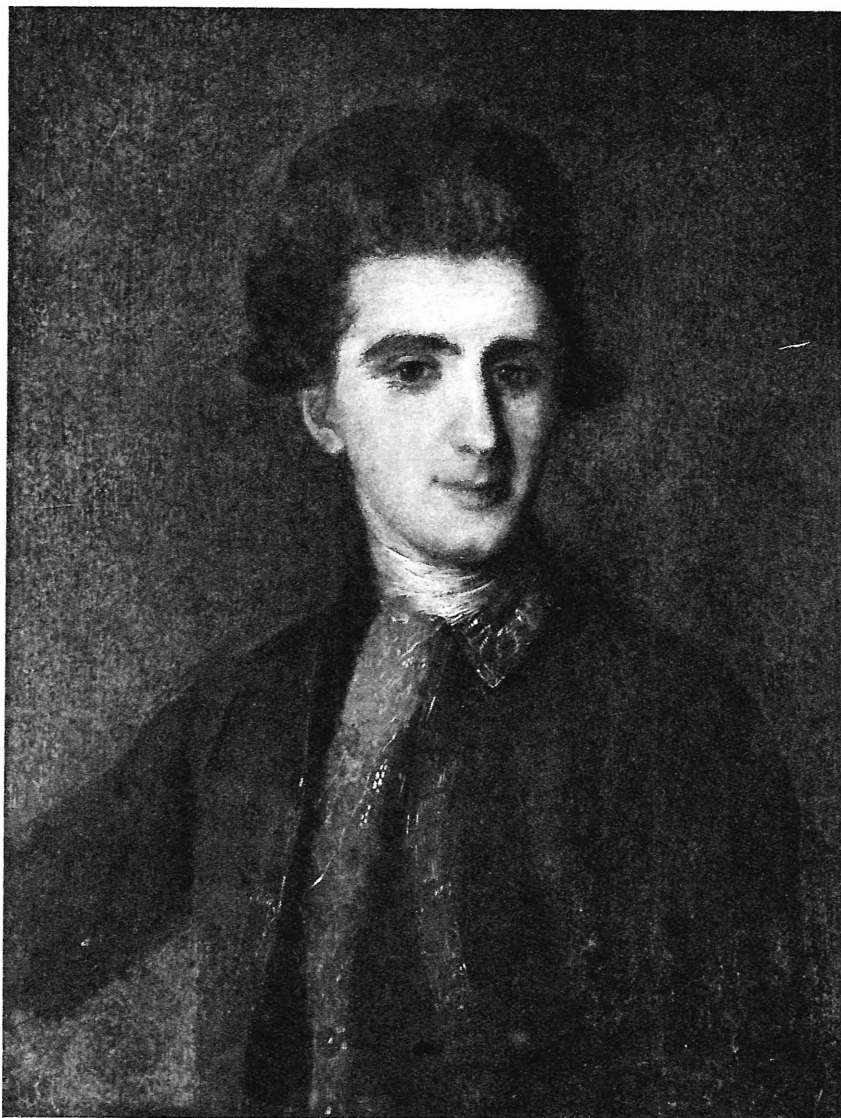
Повесть о поэте Александре Ивановиче Полежаеве (1804—1838 гг.)

П $\frac{70802-516}{M101(03)81}$ 425—81

Р2



*Это поэт Полежаев.
Таким нарисовала его
Екатерина Ивановна Бибикова.*



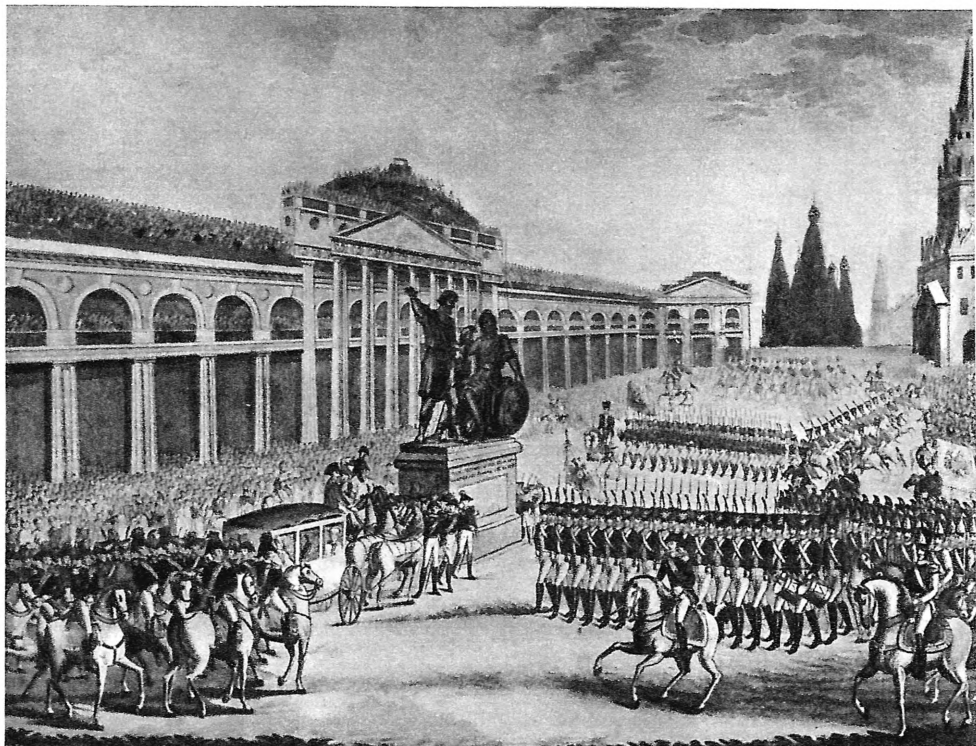
*А это — дед и бабушка будущего поэта:
Николай Еремеевич и Александра Петровна Струйские.*



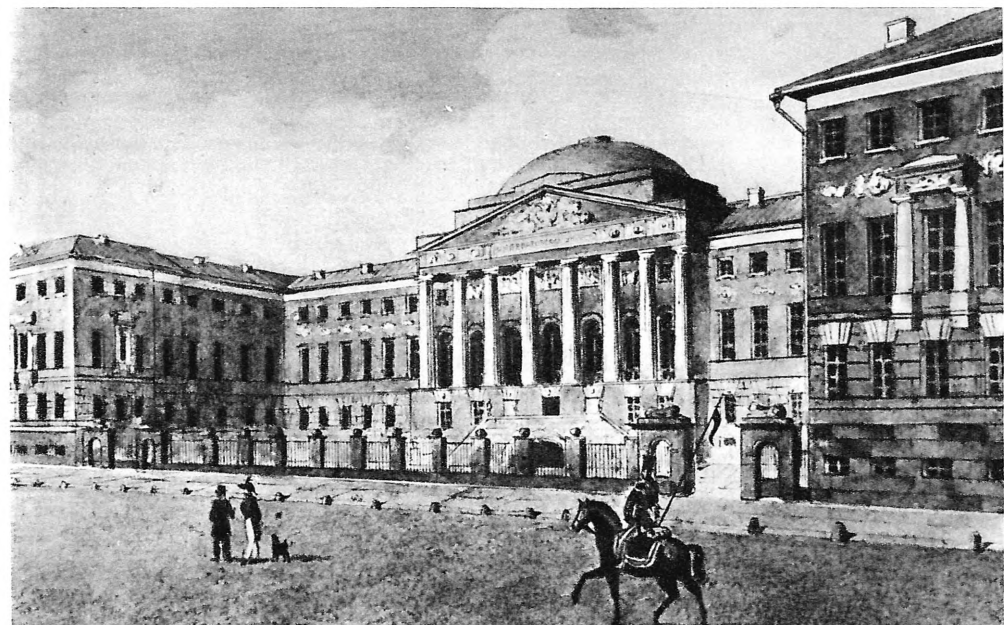
*Их портреты замечательно написал
славный художник Рокотов.*



*Но мальчик Полежаев жил не в барских хоромах.
На литографии того времени
изображена крестьянская изба.
В такой избе и прошло детство поэта.*



*А это — уже Москва, Красная площадь,
торжественное открытие памятника
Минину и Пожарскому.
Когда происходило событие,
запечатлённое на старинной гравюре,
Полежаев учился в московской гимназии.*



*Московский университет.
Д. Афанасьев, художник той поры,
нарисовал его только что восстановленным
после пожара 1812 года.
Студент университета Полежаев
сделался известным поэтом.*



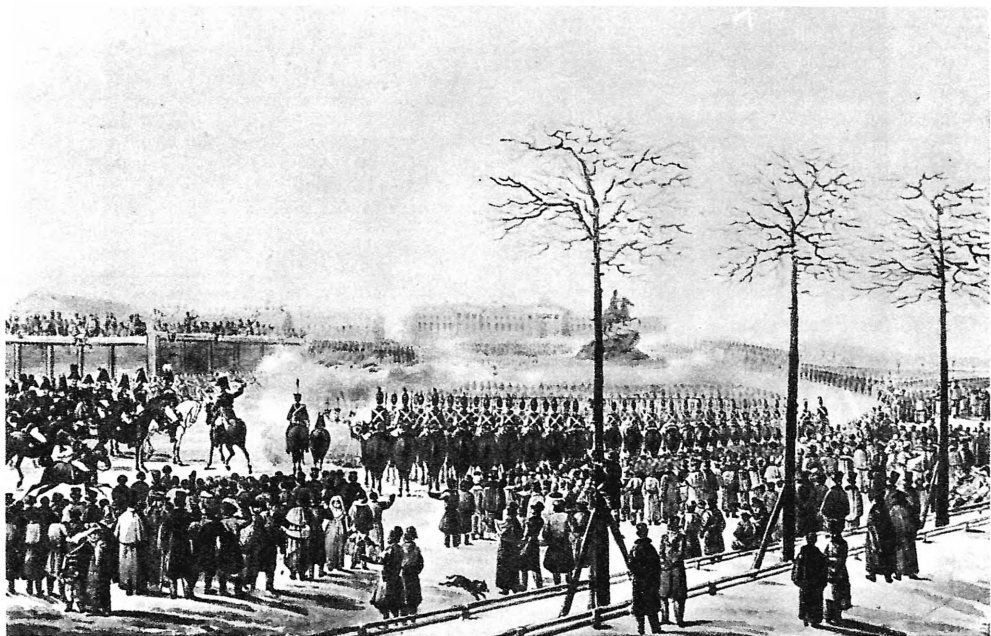
*Но царь придумал для вольнолюбивого поэта
другой «университет»: сдал его в солдаты.
Художник Васильев изобразил
обучение солдата-новобранца.*



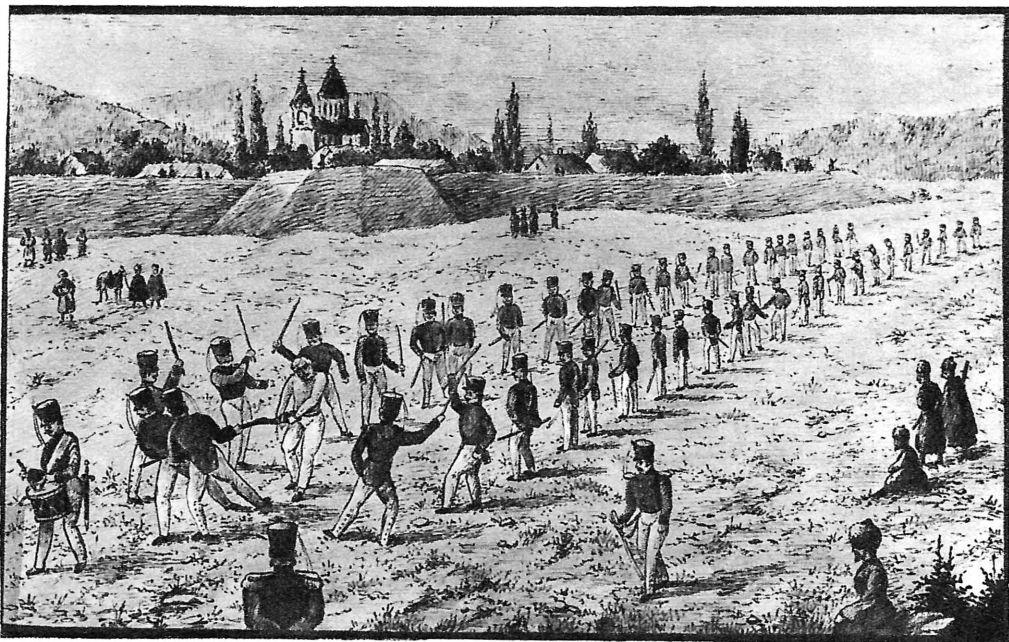
*В те же дни юные Огарёв и Герцен,
завтрашние друзья Полежаева,
клялись продолжить дело декабристов,*



*отдать жизнь борьбе с самодержавием,
за народное счастье.
Огарёва написал неизвестный портретист,
а Герцена в те же годы художник Алексей Збруев.*



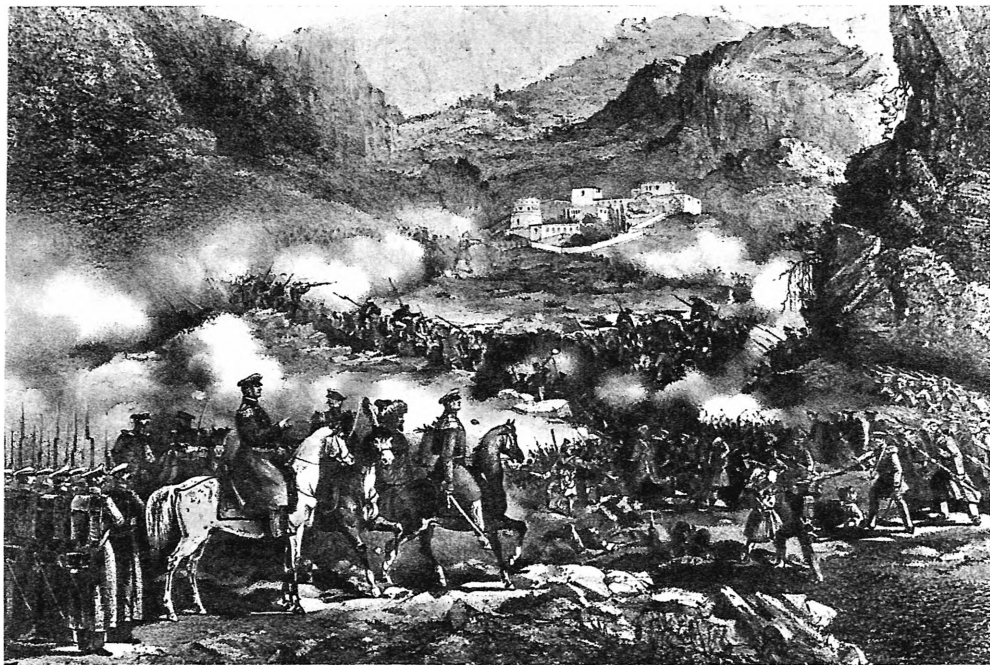
*На рисунке очевидца —
восстание на Сенатской площади в Петербурге
14 декабря 1825 года. Полежаев не участвовал в восстании,
но ему были близки мысли и настроения декабристов.
За это царь жестоко покарал его.*



*Самым страшным наказанием
были шпицрутены, «зелёная улица».
Офицер, участник наказания,
нарисовал в своей тетради
эту гибельную «улицу».*



*Военная служба привела Полежаева на Кавказ.
Многие строки его стихов
рассказывают о нелёгких походах.
Об одном из них напоминает тогдашний рисунок.*



*Картинка-лиитография из старой книги
помогает нам увидеть и штурм аула Гимры.*



*На этой литографии — мирная сцена:
помещичья семья у клавесина.
Наверно, так проводил вечера
на даче у Бибиковых и Полежаев.
Он не знал, что впереди
его ждут новые испытания.*



*Екатерина Ивановна Бибикина, любовь поэта.
Она нарисовала себя сама.*



*И напоследок — снова портрет Полежаева.
Таким увидел и запечатлел его друг —
художник Уткин.
Читая стихи Полежаева,
размышляя над его судьбой,
вспомните лицо поэта.*

60 коп.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА“**

